

«ГДЕ Я ПИШУ? В ГОСТИНИЦАХ. В ОБЩЕЖИТИЯХ. В БОЛЬНИЦАХ». ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В 1950–1980-е ГОДЫ

(ГЛАВА ИЗ КНИГИ «ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ОТ ОТТЕПЕЛИ ДО ПЕРЕСТРОЙКИ», ГОТОВЯЩЕЙСЯ К ВЫПУСКУ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» В СЕРИИ «ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»)



АЛЕКСАНДР ВАСЬНИН
Лауреат Историко-литературной премии Александра Невского и Горьковской литературной премии, конкурсов «Лучшая книга года» и др., автор публикаций в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Вопросы литературы» и др.

Советские писатели в обозначенную эпоху обитали в разных городах Советского Союза. В 1970-е годы в Вологде жили Виктор Астафьев и Василий Белов, в Иркутске — Валентин Распутин, в Ленинграде — Даниил Гранин, в Риге — Валентин Пикуль, в Вильнюсе — Эдуардас Межелайтис, в Тбилиси — Нодар Думбадзе, в Гродно — Василь Бынов, в Киеве — Олесь Гончар, а во Фрунзе (ныне Бишкек) — Чингиз Айтматов. Михаил Шолохов по-прежнему жил в своей станице Вешенской. Да, едва не забыли про Мирзо Турсун-заде (таджикский классик, автор строк «Я встретил девушку, полумесяцем бровь») — он был прописан в Душанбе.

И все же, перелистывая толстенный справочник с адресами советских литераторов, приходишь к выводу, что подавляющая их часть стремилась поселиться поближе к центру, в столицах союзных республик, а лучше всего — в Москве и Ленинграде. В результате такого понятного стремления нехватка жилья для литераторов стала хронической — настолько их было много. Ведь они же в основном были людьми семейными (и не раз!) и далеко не бездетными. И потому для них жилье строили и строили, а квартиры все равно оставались дефицитом, что отражало общую ситуацию в стране, когда существовало такое распространенное понятие, как очередь на жилье, в которой порою стояли десятилетиями. Подрастали новые поколения семьи — рождались новые дети, папы и мамы становились дедушками и бабушками, а условия жизни советских людей не менялись. Жилой площади катастрофически не хватало — ее занимали не только диваны и детские кровати, но и книжные шкафы: ведь граждане очень любили читать. К тому же никакой ипотеки, позволяющей купить квартиру в частную собственность в любом городе страны, тогда и быть не могло.

Для того чтобы понять, почему советские писатели так дорожили членством в своем союзе, вспомним, что в СССР квартиры простым

гражданам не продавали, а «давали». Последний глагол указывает на безвозмездность самого акта передачи квартиры нуждающимся, которых было больше, чем самих квартир. И даже строительный бум оттепели, когда по всей стране в процессе расселения коммуналок, как грибы, появились так называемые хрущевки, не решил проблему, а даже наоборот, усугубил ее. Образование новых молодых семей в малогабаритных квартирах вновь вело к увеличению их численности, что вполне можно понять. А попробуйте в такой квартире со сверхтонкими стенами написать «Войну и мир» или на крайний случай пьесу «Премия»...

Александр Солженицын вспоминает о своем посещении квартиры Бориса Можаяева в Рязани в 1962 году: «Через недельку позвал он меня зайти познакомиться с женой, только что женился. Два шага — и мы там. Трехкомнатная квартира вся пуста, свежепокрашена, как ее закончили, и почти никакой мебели и признана постоянного жилья. Борис Андреевич и Мильда Эмильевна объяснили, что кое-как ютятся в Москве на разных квартирах, не могут получить общей. (Еще спустя время рассказал Б. А., что секретарь рязанского обкома Гришин, желая удержать в области такого писателя, первоклассного знатока сельского хозяйства, дал ему эту квартиру.) Но жить в Рязани им долго не пришлось. Удался Можаяевым в Москве какой-то головоломный квартирный обмен, поселились они в малоустроенном старом доме на Балчуге. Был я раза два у них там в мои короткие навещанья Москвы». Рязань — не Москва, но объединяло эти несоразмерные города и то, что вопрос о квартире писателю мог решить фактический глава города — первый секретарь горкома или обкома. Так было заведено. Можаяев еще долго мог бы стоять «на очереди», если бы ему в виде исключения не дали квартиру. Можно себе представить, насколько долго длилась эта очередь в Рязани, это ведь не столичный город.

Примечательно, что о московском жилье Можаяева Солженицын пишет кратко: «малоустроенное», а все потому, что Александр Исаевич нередко и сам существовал в подобных же условиях. Вероятно, они не слишком его удивили. А вот прозаик (и антер!) Валерий Сергеевич Золотухин рот раскрыл от того, что «увидел своими зеннами»: это превзошло все его ожидания. «Мы сидели на коммунальной кухне, — свидетельствует Золотухин, — среди веревок с пеленками, колясками (у него трое детей). Нуча до потолка газет, банок, склянок, ведер с мусором, книг, холодильника, кухонных всяких нужностей. Это же помещение служит ему, когда он бывает дома, и кабинетом. Когда мы вошли, на одном из столиков среди посуды стояла машинка, лежала чистая бумага на газетах и стило писателя: “Вы извините, ребята, я не могу вас повести в комнаты, там малыши спят, а то разбудим”. Мы прихватили с собой “старку”, Б. А. подал грибнов собственного запаса, откупорил банку немецких сосисок, и, выпив, стали разговаривать о жизни, в основном о земле, о крестьянстве, о Нузькине...»

Сидя на кухне, вмиг превратившейся из писательского кабинета в то, чем ей и положено было быть, Борис Андреевич Можаяев поведал гостям о своих мытарствах с повестью «Живой». Повесть эта увидела свет в журнале «Новый мир» (№7 за 1966 год) под редакционным заглавием «Из жизни Федора Нузькина». Номер с «Живым» читатели бундально смели с прилавков «Союзпечати», брали только на одну на ночь почитать у подписчиков (тех, кому журналы опускали в почтовые ящики). Живым оназался не только слог автора, но и главный персонаж — не выдуманный,

настрадавшийся в колхозных оновах несчастный российский крестьянин Федор Нузьнин. Критик Юрий Нарянин поставил повесть в один ряд с «Одним днем Ивана Денисовича»: «Нузьнин — родной, единоутробный, кровный брат Ивана Денисовича. И обоим жить навсегда. Сначала казалось открытием, а потом превратилось в суесловие выражение — “Мы — дети Двадцатого съезда”... Для многих из моего поколения, для людей, разбуженных Двадцатым съездом, истинно духовным прозрением были “Один день...” Солженицына и “Живой” Можаяева. Вот чьими детьми хотелось бы стать».

Можаяев рассказывал, что в ожидании публикации «Живой» лежал в редакционном портфеле полтора года, Твардовский обнаденил его. «Трифоныч просил меня никому не давать читать, даже друзьям... “А то перепечатают, разойдется в списках и для нашего читателя будет потерян... А сколько он пролежит, это пусть вас не беспокоит... Денег мы вам дадим, сколько нужно... и как только в политике просвет отыщем, сразу пустим”. И я, правда, никому не давал читать, никто не знал. Трифоныч просил переделать конец, иначе, говорит, сам бог только поможет, я отказываюсь...»

Бог и в правду помог: журнал с повестью вышел, и Юрий Любимов сразу схватился за нее, задумав инсценировать «комедию» в своем театре на Таганке, что и удалось сделать в 1968 году. Главную роль играл Валерий Золотухин, выходявший на сцену с номером «Нового мира» в руках. Эффект от постановки на какое-то время превзошел значение самой повести. Получился спектакль-манифест. «Живой» еще не был объявлен в репертуаре, а Москва уже бурлила: на Таганке ставится дерзкий, революционный спектакль. На репетициях и черновых прогонах зал был полон. Творческая и научная интеллигенция любой ценой пыталась хоть одним глазком взглянуть на «Живого». Не дремали и партийные чиновники. Посмотрев спектакль, Екатерина Фурцева заявила: «Наная же это комедия, это самая настоящая трагедия!» Досталось и «Новому миру»: «Вы что, думаете, подняли “Новый мир” на березу и хотите далеко с ним ушагать?» Любимов в ответ: «А вы что думаете, с вашим “Октябрем” далеко пойдете?» В марте 1969 года спектакль был исключен из репертуара решением управления культуры исполкома Моссовета. Премьера прошла через два десятка лет — в феврале 1989 года.

А пока Можаяев и Золотухин-Нузьнин выпивали на кухоньке писателя, закусывая немецкими колбасными изделиями. Борис Андреевич говорил о том, что из писателей своего поколения очень ценит Солженицына: «Великий писатель... некоторые места в романе написаны с блестящими гениальности». Высокого мнения он был о Василии Белове и «Юрне» Назанове. Но главным для него все же оказался Лев Толстой: «Это бог... надо всеми... Но для меня еще к тому же его философия — моя религия». Золотухину даже стало стыдно: «Он много говорил о Толстом, а кругом летают мухи коммунальные, и от них громадные тени. Вот как живет замечательный русский писатель... Пишет на кухне. А мы... стараемся оборудовать кабинет, устроить жилье, условия то есть для творчества, удобствами вызываем вдохновение... покупаем чернила, бумагу... машинку, весь подобный инвентарь, и только одного не хватает, одного не знаем, где купить талант, страсть...»

В приведенном нами примере повседневной жизни Борис Можаяев как советский писатель предстает (пока еще) именно в тех условиях, в которых существовали все остальные граждане. И понятие «писа-

тельская кухня» означает именно то место, где готовят еду. В СССР для того, чтобы дожидаться квартиры в обычной очереди, требовался если уж не талант, то по крайней мере способности (очередь была двух видов: райисполкомовская и ведомственная). Дефицит жилья порождал привилегии, были они и для творческих людей: члены Союза писателей имели право на дополнительные квадратные метры жилой площади.

Привилегия эта появилась еще в 1930-е годы, когда Центральный исполнительный комитет СССР и Совнарком СССР приняли Постановление №1363 от 7 июля 1933 года «Об улучшении жилищных условий писателей». Из него следовало, что для «наиболее плодотворной литературной деятельности» члены Союза советских писателей СССР приравнивались «в отношении жилищных прав к научным работникам». Таким образом, труд советского писателя на государственном уровне приравнивался к деятельности научных работников. А потому литераторы получили право «на дополнительную отдельную комнату для занятия сверх занимаемой ими по общей норме площади, а при отсутствии отдельной комнаты — на дополнительную площадь размером не менее двадцати квадратных метров». А в советское время ведь как было — однажды принятое решение действовало до тех пор, пока его не отменят. И не удивительно, что подзаконные акты той эпохи не утратили своей силы до сегодняшнего дня (но только не в отношении писателей — союз-то их развалился, как и общесоюзный Литфонд).

Двадцать лишних метров для кабинета. Разве плохо? А если в семье два писателя, муж да жена? Тогда умножаем «литературные метры» на два. А само выражение «литературный метр», согласитесь, очень забавно, поменяй в нем одну бунву — и получится совсем иное по смыслу — «литературный мэтр». А уж мэтру в коммуналке жить не пристало...

Правда, прежде чем «добыть» полагающиеся по закону дополнительные «литературные метры», следовало получить основные. Так что здесь не все так безоблачно. У писателей была своя ведомственная очередь, как и у работников больших предприятий, заводов или фабрик. Ибо Союз писателей, по сути, можно считать той же самой фабрикой, воспроизводящей своих членов и их продукцию. А потому он и давал им квартиры, располагая огромными (но не безбрежными) литфондовскими ресурсами. Так же, как и какой-нибудь крупный завод (например, в бозе почивший ЗИЛ), Литфонд мог вполне себе это позволить. И получение долгожданной квартиры в обозримом будущем оказывало серьезное влияние на их поведение, особенно если дело касалось подписания очередного гневного письма «общественности» против всякого рода «литературных сорняков». Это был своего рода рычаг воздействия, принудивший к конформизму и соглашательству.

Не зря Михаил Рошин вложил в уста одного из героев пьесы «Старый Новый год» — говорливого тестя — следующую фразу: «Ты хоть маленький, а начальник, все у тебя есть. Внупе... В местном». Такая общественная организация, как местном, могла сназать свое веское слово при распределении квартир во вновь построенном доме. Ному давать квартиру — молодому и талантливому, в котором нуждается литературное издание, или уже опытному сотруднику? Например, в комфортабельном доме № 16 в Безбожном (ныне Протопоповском переулке) жили самые разные люди. Это тот самый дом, который еще до переименования увековечил Булат Окуджава:

*Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант.
В Безбожном переулке хиреет мой талант.
Кругом чужие лица, враждебные места.
Хоть сауна напротив, да фауна не та...*

Про кого это автор написал — «чужие лица»? Уж не про заселившееся ли в соседние дома начальство? У Окуджавы со всяким начальством проблем было немало, не зря же Госпремию СССР ему дали лишь в 1991 году. А сауна — это, конечно, знаменитые Астраханские бани.

Соседом Булата Окуджавы был Олег Волнов, писатель-долгожитель. Из прожитых девяносто шести лет более четверти вена он провел за решеткой. Родился в 1900-м, при Николае II, скончался в 1996-м, при Борисе (первом или все-таки втором? Смотря как считать). Жизнь Олега Васильевича Волнова — это тоже «наша с тобой биография», причем типичная. После возвращения из ГУЛАГа в 1957 году его приняли в Союз писателей. Вдова писателя Маргарита Сергеевна вспоминала: «Мы вселились сюда чуть ли не первыми, и нам поспешили установить телефон. Но — с номером, который до того принадлежал вендиспансеру! Нам еще долго звонили его взволнованные пациенты... По тем временам — а это были 70-е годы — дом наш считался “элитным”: многоэтажный, кирпичный. Вокруг народ еще ютился в крошечных деревянных домиках. Помню, как возле нашего подъезда бродил один дяденька, пинал ногой стоящие возле дома машины и злобно говорил, что нас всех скоро возьмут под коготь». «Взять под коготь» — это хороший штрих, изобразительный...

В этой квартире в Безбожном переулке Олег Волнов сочинял и главную свою книгу, автобиографическую — «Погружение во тьму», впервые изданную во Франции в 1987 году. «Папа не надеялся, — рассказывает дочь писателя, Ольга Олеговна, — что это напечатают у нас. Да, он всегда говорил: “Нарфаген должен быть разрушен”, то есть надеялся, что этот строй однажды рухнет, но был уверен, что не при его жизни. Ему важно было написать этот текст как документ, свидетельство, в надежде, что когда-нибудь его все же опубликуют. И вот так получилось, что Булат Окуджава предложил тайно перевезти рукопись “Погружения” во Францию. Папа был в добрососедских отношениях с Окуджавой, и Булат Шалвович был единственным из наших знакомых, кто тогда регулярно ездил за границу. Окуджаву, думаю, таможенники не посмели обыскивать. Но для надежности он, когда ехал в поезде, спрятал рукопись за спинку дивана».

Что было общего между Окуджавой и Волновым, помимо общего почтового адреса? Догадаться нетрудно. Олег Васильевич сам сидел, а у Булата Шалвовича репрессировали родителей: отца расстреляли, а мать отправили в ГУЛАГ. Им было что вспомнить.

В СССР «Погружение во тьму» напечатали только в 1989 году. Получая за свою книгу в 1991 году первую Госпремию России из рук Президента РФ Бориса Ельцина, Волнов сказал ему: «Борис Николаевич, вы же Ипатьевский дом в Екатеринбурге разрушили, вам его и восстанавливать». Ничего не ответил Борис Николаевич, только похлопал писателя по плечу. Хорошо еще, что не по голове...

Олег Волнов был страстным охотником, ружья хранил дома. Однажды перед Олимпиадой-80 к нему пришли из милиции как к неблагонадежному, отсидевшему срок (и не один) в тюрьме. Подумаешь, что он писатель, ну и что? Вдруг пальнет в товарища Брежнева на церемонии открытия? Все

возможно. «Местный участковый по фамилии не то Норытко, не то Носорылко решил конфисковать эти ружья у бывшего уголовника и потенциального преступника... Милиция пришла с понятыми и торжественно удалилась, унося обнаруженное... Это было явное нарушение закона, и за Олега вступился Союз писателей. Вскоре раздался звонок из милиции: "Можете забрать ваши ружья". "Нет, — сказал им в ответ муж. — Вы взяли, вы извольте и принести". Принесли, да еще расшаркивались. Олег их абсолютно не боялся, говорил, что еще раз им его не заполучить. Но был сильно возмущен, говорил, что кагэбэшная удавка за ним все тянется», — рассказывает Маргарита Сергеевна Волкова, вдова писателя.

Часто общались по-соседски Булат Окуджава и Анатолий Жигулин, также побывавший на лесоповале. В 1950 году его, студента, приговорили к десяти годам лагерей. Сидел он и на Нолыме. Реабилитирован в 1956 году. Большой резонанс в годы перестройки вызвала публикация автобиографической повести Жигулина «Черные камни», над которой автор работал в том числе и в этом доме. 6 августа 1980 года писатель отметил в дневнике: «Неожиданно позвонил Булат. Он вернулся из Нонтелебя, хотел узнать новости. А кание я знаю новости?.. Булат переживает смерть В. Высоцкого. Хотел, дескать, написать стихи на его смерть, но "лезет всякая банальщина". Спросил, работаю ли я, пишется ли. Я сказал, что написал несколько стихов, могу прочесть одно». А вот запись от 21 сентября 1980 года: «Звонил Булат. Хочет, чтобы я дал ему текст стихотворения "Из больничной тетради". Буду, говорит, пропагандировать. Очень ему понравилось стихотворение».

А 10 апреля 1981 года Булат Шалвович пригласил соседа зайти за билетами на свой творческий вечер и подарил в итоге и книгу с пластинкой. Говорили они в тот день о Науме Коржавине, само собой, не по телефону. Коржавин к тому времени уже жил в Америке. 25 сентября 1983 года Окуджава предложил Жигулину помощь — дал почитать запрещенную литературу. Анатолий Владимирович задумал стихи о гражданской войне, хорошим подспорьем ему послужили эти книги: «Здесь мемуары Родзянко, Милюкова, Неренского, Шульгина, Деникина, Краснова, всех не перечить. Книги эти чудовищно редкие. И конечно, их можно почитать лишь в Ленинке или в Гос. исторической библиотеке в закрытых фондах» (из дневника от 25 сентября 1983 года). Надо ли говорить о том, что сам факт передачи друг другу антисоветской литературы демонстрировал полное доверие и единомыслие соседей-писателей.

В Безбожный переулоч переехал и не член Союза писателей Владимир Богомолов. Но каким же образом несговорчивый литератор смог прописаться в столь «враждебных местах»? Сперва жил он неподалеку от Бело-русского вокзала. «Нрхотная комнатка, кухня — пять метров. Последний этаж, что-то вроде антресолей. Друзья, коллеги брали его за горло: "Ну напиши ты Промыслову заявление на квартиру". Промыслов — председатель Мосгорисполкома, личность всемогущественная. "Ну напиши, он от твоего романа в восторге". Промыслов прочитал заявление Богомолова и был сражен: "И это он такой роман в однокомнатной квартире написал?" Владимир Осипович получил квартиру, в прихожей которой можно было устраивать мотогонки», — повествует Эдвин Поляновский, журналист-известинец, хорошо знавший писателя.

Любопытно, что Владимир Осипович всячески демонстрировал свою независимость и не только от Союза писателей. Лазарь Лазарев, также заходивший в его прежнюю маленькую квартирну на Большой Грузин-

ской, удивлялся: «Там я впервые услышал его “программное” заявление... “Я от них отделился”, — говорил он о властях, о государстве. Плачу взносы в “Красный Крест”, вот и вся моя связь с ними — они мне не нужны. Это по тем временам было вызывающее самоопределение, мало кто мог себе такое позволить, так заявлять о своей автономности, независимости. Это привлекало к нему людей — им восхищались. Хотя со временем он стал любоваться своей независимостью, гордиться ею». Независимость — это, конечно, хорошо, но жизнь-то продолжается.

А в Безбожном переулке Владимир Осипович Богомолов сперва поселился в доме № 14, а затем в доме № 6, по соседству с председателем правления Госбанка СССР. Но квартира, по которой можно было кататься на велосипеде, Богомолову пришлось не по нраву, как объяснил он Лазареву, «вид из окна был не тот, мешал работать». Ну что же, причина понятная, особенно для советского писателя. И тогда Владимир Осипович получил квартиру в другом доме, тоже хорошем. «Началась эпопея ремонта и приведения квартиры в тот образцовый порядок, который он считал необходимым, единственно возможным. Во все мелочи вникал. Несколько месяцев... одна из комнат в его новой квартире представляла собой ремонтную подсобку. Я тогда говорил ему (он любил слова и фразы-формулы), что главным его словом стало “заподлицо”, — рассказывал Лазарь Лазарев, добавляя: — При входе в этот столь респектабельный дом на него, стараясь отобрать сумку, напал грабитель и нанес ему несколько ран...»

Каждый писатель мог бы написать свою квартирную историю или рассказать о том, как помог другому. Анатолия Алексина как-то утром в половине седьмого утра разбудил телефон: звонил ответственный секретарь одной из газет: «Анатолий Георгиевич, простите, что я спозаранку... Вы понимаете, мой сын Сережа поступает в один технический институт. Но в том институте есть особый факультет, где на одно место десять претендентов. Сережа хочет именно туда. Я прошу... умоляю вас: поговорите с ректором!»

Но при чем здесь писатель Анатолий Алексин? Он ведь не физик, а больше лирик. Звонящий пояснил: «Я уже выяснил: ректор вас любит! Если бы вы сегодня смогли к нему съездить!» Анатолий Георгиевич, судя по всему, отказывать не умел. И в 9:00 он был у ректора — бодрого старичка, членкора Академии наук, известного ученого. Алексин в глаза не видел этого самородка Сережу, но рекомендовал его за «страстное призвание и недюжинные способности, попросив «приглядеться повнимательнее». Ректор смотрел «все понимающими» глазами и обнадежил: «Пригляжусь» — и записал в календаре фамилию абитуриента.

Только Алексин за дверь, как ректор и говорит: «А кстати... Знаете, у меня есть любимый племянник... Сочиняет стихи... И представьте себе, послал он в журнал подборку самых лучших своих стихотворений, а оттуда — ни звука. Ну, ни гугу... Вот если бы вы...» Ну что делать? И Алексин садится в машину и едет в редакцию того самого журнала, где пылится рукопись нового Александра Сергеевича или Михаила Юрьевича. На месте оказался заместитель заведующего отделом поэзии. Он вошел в положение, пообещав опубликовать два-три стиха. Остальные были слабоваты, не достойны, так сказать, высокого уровня всесоюзного журнала.

Только Алексин за дверь, как слышит: «А кстати... У меня к вам огромная просьба! Личного характера... Я давно толкнусь в очереди

на квартиру. И вот наконец предложили... Но на первом этаже. Почему?! Я столько лет состою в Союзе писателей. Много книг. И тут вот ишачу, в редакции. Отбиваюсь от графоманов. Это же "вредное производство"! Н тому же я — инвалид». Анатолий Георгиевич вновь садится в те же самые "жигули", за рулем которых сидит папаша Сережи-абитуриента, о коем все уже забыли, и едет в Союз писателей. Ехать надо сейчас, ибо "завтра может быть уже поздно... Вас послала сама судьба!"»

И вот судьба в виде Анатолия Алесина достигла Союза писателей. «Управляющим делами в ту пору — правда, очень недолго — был лихой, изрядно выпивавший нутила немолодого возраста, который со всеми держался запанибрата. Полушепотом всем сообщал, что он генерал в отставке». И со всеми на «ты». Прямо как Михаил Сергеевич или Винтор Степанович. Алесин не называет фамилию чиновника-выпивохи. А разве это имеет значение? Дело-то в системе. Нороче говоря, с трудом отна-завшись от коньяка, который был немедля извлечен из несгораемого сейфа, Анатолий Георгиевич сумел внушить хозяину кабинета, что от него хотят. Постепенно оборона пала: «Подумаешь, инвалид! А кто нынче не инвалид? Я, что ли, здоров?. Кто-то же должен и на первом этаже жить!.. Придется пойти навстречу». В итоге подобранный бюрократ набрал телефонный номер и распорядился: «Там у нас что-то есть в заначке на третьем этаже... Перебросим туда с первого!»

Только Алесин за дверь, как слышит: «А кстати! Моя дочь учится в музыкальной школе... Я давно хотел к тебе обратиться. Директор школы сназала, что если б ты провел читательскую конференцию, она бы пригласила районное начальство — и им бы... произвели капитальный ремонт». Алесин согласился. На колу мочало — начинай с начала.

А кончилось все тем, что Сережа поступил, а племянник ректора увидел свои стихи напечатанными в толстом журнале; сотрудник отдела поэзии въехал на третий этаж писательского дома, а музыкальную школу отремонтировали. Нам смешно, но такова была жизнь, по принципу «ты — мне, я — тебе». Даже фильм такой сняли, кинокомедию, с Леонидом Нуравлевым в главной роли банщина, перед которым открывались двери всех кабинетов, даже министерских. Кстати, этот банщик хвалится тем, как после посещения его парилки в Сандунах нений классик, который ранее жаловался, «что ему не пишется», вдруг вдохновляется и создает произведения, «достойные своего гения». Сегодня такой всем помогающий человек зовется решальщиком. А тогда... Анатолий Алесин характеризовал эту систему взаимоотношений так: «"Ты — мне, я — тебе", — это формула, которую уже не отмыть, потому что она олицетворяет собою не бескорыстную взаимоподдержку, а блатнерскую круговую поруку. Или же отношения этаного "взаимоплатежа"».

Анатолий Алесин — один из самых издаваемых в СССР детских писателей, автор многих рассказов, повестей, пьес («Саша и Шура», 1956; «Говорит седьмой этаж», 1959; «Мой брат играет на кларнете», 1968; «Звоните и приезжайте», 1974; «Третий в пятом ряду», 1975; «Поздний ребенок», 1983, и многих других). Жил он в Москве на Красноармейской улице. В начале 1990-х годов покинул Россию, написал мемуары «Перелитывающая годы». Век писателя длился долго — он скончался в Люксембурге в 2017-м, на 93-м году...

Квартирный вопрос испортил не только москвичей, если верить Воланду, но решен так и не был. На что только ни шли граждане, чтобы улучшить жилищные условия. Добрые люди придумали фиктивный брак.

А некоторые вступали в брак исключительно с москвичами, желая обрести вожделенную прописку, что не способствовало прочности новой семьи. В Москве поселиться надолго иногороднему гражданину было наиболее трудно, фактически столица долгое время была закрытым для прописки городом.

Мытарства особенно молодых писателей ярко демонстрирует история с пропиской в Москве Василия Макаровича Шукшина. В 1960 году после защиты диплома во ВГИНе (с оценкой «отлично») Шукшин оказывается в подвешенном состоянии: ехать в Свердловск, куда его распределили работать на местной киностудии, он не хочет. Его цель — работать в Москве, на «Мосфильме». Но для этого нужна московская прописка, которой он не имеет. А без прописки на работу не возьмут, такова была специфика повседневной жизни. Ситуация складывается безвыходная, хоть женись на москвичке. В это же время, в 1961–1962 годах, Василий Макарович активно печатается в консервативном журнале «Октябрь», главный редактор которого Всеволод Ночетов помогает талантливому писателю прописаться в столице, но не за так, конечно.

Даниил Гранин запомнил Ночетова по ленинградской писательской организации: «У нас был первым секретарем Ночетов... Сталинист, догматик. Убежденный хулигатель интеллигенции. Может, зависть способствовала, может, то, что его не допускали в свой круг лучшие писатели города. Ночетов был прославленный, но малоинтересный писатель весьма среднего уровня. Им управляли прежде всего зависть и амбиции. “Писать надо по-простому, — учил он меня, — для народа, для людей, вот как я пишу. Вот я пишу про рабочий класс “Журбины” роман, и все понятно, все ясно. Я помогаю и партии, и правительству, а то, что эта интеллигенция все мудрит, изощряется, кому это нужно, этот Серебряный век, все эти Крученых-Перекрученых, на хрена они нужны?» Действительно.

Было бы очень красиво, если бы Шукшину сразу дали жилплощадь или товарищ Ночетов прописал бы его в своей квартире на Ломоносовском проспекте, но, видно, у него лишних метров не хватило. А вот у члена редколлегии журнала «Октябрь» Ольги Михайловны Румянцевой такая площадь нашлась. Как вспоминал Василий Белов, «эта благородная женщина на свой страх и риск прописала Шукшина на своей жилплощади». Белов и сам бывал у нее в гостях: «Шукшин ездил ночевать в эту квартиру только в самых отчаянных случаях. Он стеснялся приезжать туда часто. Ольга Михайловна навсегда останется в благодарной памяти шукшинских почитателей. Не в пример многим начальникам, предательски подставившим Макарыча под тяжкий пресс неустроенного быта, она по-матерински принимала даже меня. Ее дочь Ирина и зять художник Юра Бухарин рассказали и показали мне очень многое из того, что мне потребовалось для работы». Юра Бухарин — сын репрессированного Николая Бухарина, также прописанный у Румянцевой. Вот такая интересная связь времен. Да что говорить — сама Румянцева работала секретарем у Ленина...

Подробности столь сложного процесса своей прописки (из которого можно было бы раздуть целую повесть) Шукшин рассказал Виктору Некрасову во время их встречи в Киеве в 1962 году, отмечали которую за бутылкой доброго вина. Василий Макарович поведал про свою повесть о «жизни деревенской», и что ее «Октябрь» вот берет. Товарищ Ночетов... Он мне уже и прописку в Москве устроил. Под эту повесть». Некрасов забрал у Шукшина эту повесть и отправил в «Новый мир» Асе Берзер, соратнице Александра Твардовского. «Повесть она прочла, увидела, что

парень кое-что может, но для печати не взяла (нажется, это были "Любавины"), попросила, если есть, принести рассказы. Вася принес. Ася прочла и тут же дала в номер. Там родился писатель Шуншин. А Ночетов, говорят, лютовал, велел отменить прописку, но было уже поздно — в паспорте стоял штамп». Так рассказывал Некрасов. И в декабре 1962 года Шуншин официально стал москвичом «в виде исключения».

Исключение это было основано на «решении органов милиции, согласованное с исполкомом Московского городского Совета депутатов трудящихся», как указывает в своей книге о Шуншине Алексей Варламов. Правила прописки в Москве, и без того суровые, в этот период были ужесточены, а потому понадобилось вмешательство еще и главного милиционера столицы — Николая Трофимовича Сизова, начальника Управления внутренних дел при Исполкоме Моссовета (в 1962–1965 годах). Человек был многогранный — не только партийный работник, но и член Союза писателей СССР, жил на Фрунзенской набережной, между прочим. А с 1971 года пятнадцать лет руководил «Мосфильмом». Интересная карьера: сперва комсомол, потом милиция, наконец, киношники. И это тоже довольно типичный случай для советской эпохи, когда чиновника «бросали» порою на диаметрально противоположные направления. И Шуншин с ним впоследствии встречался не раз.

Ну а как же дальше сложились отношения Василия Манаровича с «Октябрем», благодаря которому он и получил прописку, и с его главным редактором товарищем Ночетовым? Анатолий Гребнев в своих «Записках последнего сценариста» расценивает «разрыв» Шуншина с этим журналом как вполне логичный. «Название журнала звучало как обозначение одной из двух непримиримых партий; партии уже были! Сам Шуншин красочно описывал мне, как он был поначалу пригрет "Октябрем" и даже напечатался там, но вот однажды — сидит у них в редакции, в большой комнате, и видит вдруг: все встают. В чем дело? А это редактор вошел, Ночетов, вот они и повставали. "Ну, думаю, шалишь, — продолжал Шуншин, — чтобы я так вставал? Да ни за что на свете! Пошел потихоньку к двери, да и был таков"».

А первую книгу Василий Манарович издал в «Молодой гвардии». Ветераны издательства вспоминают, каким впервые увидели его — в телогрейке и кирзовых сапогах, с чемоданчиком, из которого он вытряхнул на стол редактора Ирины Гнездиловой свои рассказы. Та была ошарашена. Шуншин попросил: «Посмотрите, что-нибудь может пригодиться!» И ведь пригодилось, вскоре вышла книга «Сельские жители». Шел 1963 год.

Однако не следует думать, что случай с пропиской Шуншина редкий. В этом же самом журнале лет за десять до Шуншина появился другой молодой и многообещающий писатель — Анатолий Рыбаков, которому также посулили квартиру и массу других приятных привилегий и подарков. Только главным редактором там был Федор Панферов, дважды лауреат Сталинской премии, автор романов «Брусни», «Борьба за мир», «Большое искусство» и «Волга-матушка река». Если кто-то из читателей впервые услышал имя этого литератора, то зря: в Москве есть улица Панферова, и висит табличка, из которой следует, что он был «выдающимся советским писателем». Журнал «Октябрь» он возглавлял без малого тридцать лет, до 1960 года. Интересно, что он также поучал Анатолия Рыбакова следовать канонам соцреализма, так сказать, держаться линии партии, ибо «на хрена они все нужны? Все эти Нрученых-Перенрученых...». Обещания свои Панферов выполнил: выбил Рыбакову в Союзе писателей квартиру,

выдвинув его роман «Водители» на Сталинскую премию в 1951 году. Короче говоря, «сделал из него человека».

Так что в отношениях главных редакторов с многообещающими авторами прослеживается даже некий принцип: молодым литераторам старались помогать в бытовом плане. Но не просто так. Их вставляли в обойму, как патрон, ожидая новых отнюдь не холостых выстрелов. В условиях не прекращавшихся литературных склонов и боев влиятельным писателям ощутимо требовалась и поддержка молодых, которых пестовали, подкармливали, горя желанием зачислить их в свой стан. И ведь выбирали всегда из самых низов (как им это ложно казалось), из «простого народа». Шукшин — из крестьян, Рыбаков — из шоферов. И решение насущного жилищного вопроса было здесь краеугольным камнем. Не все писатели, как Борис Можаев, могли творить на кухне, но и не во всех редакциях давали квартиры и прописку...

А тот самый Николай Сизов помог еще одному литератору — критику Игорю Золотусскому, который трудился в одной газете с Геннадием Красухиным. «Жил он не в Москве, а во Владимире, так сказать, на два дома, уезжая по воскресеньям к жене и двум сыновьям, а остальное время проводя в Москве в комнате, которую снимал, в газете, которая взяла его на работу и бралась через Сырономского (первый зам главного редактора. — *А. В.*) прописать в Москве на площадь строящегося кооператива... Но прописать Золотусского оказалось непросто даже для Сырономского, бывшего помощника первого секретаря Московского горкома Демичева, который вошел в политбюро, пусть не членом, а кандидатом, и был очень влиятельным человеком в Москве», — читаем мы в мемуарах «Тем более, что жизнь короткая такая».

Но выяснилось, что даже для Петра Ниловича Демичева — того, чей портрет носили на демонстрациях, и потому людей его уровня так и называли «портреты», — это оказалось не под силу: «Никто не знал, как все-таки прописать Золотусского в Москве. Оказалось, что для этого никакой Демичев был не нужен. Что гораздо проще иметь дело с замом председателя Моссовета Николаем Сизовым, чья жена — сотрудник музея Горького при Институте мировой литературы — была ответственным редактором и составителем книги «Русские писатели в Москве». Книга была подарена Сырономскому и вручена Виталием Александровичем Золотусскому со словами: «От этого зависит ваше будущее!» «Представляешь, — говорил мне Золотусский, — я ее читаю и вижу: неподлая!» Короче говоря, Золотусский написал на нее положительную рецензию и получил щедрейший подарок от Сизова — трехкомнатную кооперативную квартиру на окраине Москвы. То есть никто, разумеется, эту квартиру Золотусскому не дарил, он заплатил за нее, но стал полноценным московским жителем».

А ведь Игорь Петрович Золотусский был москвичом по рождению, имея все права жить в Москве, куда более весомые, нежели у других иногородних литераторов. Из родного города его изгнали как сына врага народа. В 1937 году был арестован отец Золотусского. «Это происходило при мне на 2-й Мещанской улице, сейчас улица Щепкина. Нас с матерью выбросили из квартиры, поселили в какой-то угол. В начале войны арестовали мать, меня отвезли в Даниловский монастырь, где тогда был детский приемник ГУЛАГа НКВД. С этого момента во мне начинает нарастать чувство обиды и, не снрою, мести. Когда няня пошла кинула мне, что мои родители «враги народа», я схватил со стола чернильницу и бросил ей в голову. Если бы попал, то, возможно, убил бы». Игоря Золотусского отпра-

вили «в образцовый москвовский детдом макареновского типа на станции Барыбино Павелецкой дороги. Директором там был тот человек, который в “Педагогической поэме” назван Карабанным. Незадолго до моего появления его сняли с работы за то, что он жестоко избивал детей. Если ного-то из них ловили на краже овощей с интернатовского огорода, он заводил его в свой кабинет, ставил перед ним ведро огурцов, говорил: “Жри”. Когда ребенок начинал давиться, избивал его ногами», — рассказал Игорь Петрович в интервью в «Российской газете» в 2005 году.

Когда той же весной Игорю Петровичу вручали премию Александра Солженицына, он сказал, что его приход в литературу, в критику связан с трагической судьбой его отца и мезтью за него: «Мы трудно жили. И тогда чувство мести переросло во мне в желание нем-то стать, что-то сделать, может быть, даже прославиться. В конце концов это вылилось в то, что я получил серебряную медаль в школе, которую с медалью окончил Владимир Ленин».

Итак, строительная отрасль не поспевала за ростом производительности литературного труда и увеличением численности Союза писателей СССР, обгонявшей темпы жилищного строительства. Вот почему повышенная концентрация писателей в крупных городах в условиях постоянного жилищного кризиса в СССР периодически вызывала серьезную обеспокоенность у тех, кто создавал для них привилегии. В июне 1958 года министр культуры СССР Николай Михайлов докладывал в ЦК: «Сложилось положение, при котором подавляющее большинство литераторов живет в столицах союзных республик. Так, например, в Москве проживает 1300 писателей. В Армянской ССР имеется 195 писателей; почти все они проживают в столице республики Ереване. В Латвийской ССР насчитывается около 90 писателей; подавляющее большинство из них также проживает в столице республики — Риге...» Для укрепления связи писателей с народом министр культуры предлагал отправить наиболее авторитетных из них на стройки коммунизма и целину. Незадолго, всего на два-три года. И пускай свои произведения литераторы создают непосредственно на заводах и в колхозах, сочетая «творческий труд с работой в том или ином коллективе».

Но затея министра не осуществилась. Периодически этот вопрос все же поднимался вновь, однако уже к началу перестройки от писателей отстали, от них не требовали выезжать на периферию надолго, хотя бы на несколько дней. В своих мемуарах Анатолий Рыбанов воспроизводит стенограмму заседания Политбюро, опубликованную в июне 1996 года в газете «Московские новости» (№ 23). Заседание состоялось 27 октября 1986 года. Михаил Горбачев говорит: «Если, например, вчитаться в произведения Василя Быкова, особенно в его “Знак беды” — роман, отмеченный Ленинской премией, — то мы увидим, что Быков здесь иногда замахивается и на революцию, и на коллективизацию. А в кинофильме по этому роману кое-кто даже попытался сравнивать коллективизацию с действиями фашистов. Вот почему нам следует активно работать с деятелями искусства, поправлять их, если надо... Надо почаще возить деятелей искусства в колхозы, в совхозы, на производство, так, как это сделали, например, на Ставрополье с коллективом Театра имени Моссовета. Они вернулись из колхоза буквально ошарашенные и окрыленные». Возможно, что ошарашенность, по меткому выражению Михаила Сергеевича, проявилась у артистов и от сравнения жизни в колхозе и в Москве. После чего они с еще большей силой захотели домой...

Была у советских писателей еще одна привилегия, отделяющая их от читателей. Еще с конца 1920-х годов им, наряду с другими деятелями советского искусства, даровали право организовывать жилищные кооперативы. Происходило это в то время, когда основная масса населения жила в коммунальных квартирах, бараках, общежитиях. Первые писательские кооперативы появились в Москве. В частности, в Нащокинском переулке, в проезде Художественного театра. Самый известный в СССР кооператив «Советский писатель» был построен в 1937 году в Лаврушинском переулке (дом №17). Кто здесь только не жил — Валентин Катаев, Вениамин Наверин (после Ленинграда), Юрий Олеша, Лев Ошанин, Михаил Пришвин, Илья Эренбург, Илья Ильф, Виктор Шкловский, Агния Барто, Борис Пастернак, Константин Паустовский...

А в Ленинграде самый знаменитый писательский кооператив и по сей день стоит на канале Грибоедова (дом №9) — к 1935 году старый петербургский дом надстроили двумя этажами, куда и начали заселять литераторов. Здесь в разное время проживали Михаил Зощенко (ныне в его квартире музей), Евгений Шварц, Ольга Форш, Вениамин Наверин, Иван Соколов-Минитов, Юрий Герман, Вера Нетлинская, Борис Житнов, Михаил Слонимский, Виссарион Саянов, Всеволод Шишнов, Всеволод Рождественский, Борис Томашевский, Борис Эйхенбаум и многие другие. Судя по одному прозвищу «писательский недоскреб», квартиры были здесь не ахти какие, но и то хорошо: не коммуналка же (хотя некоторые семьи делили жилье пополам). И потолки низкие, и коридоры неудобные, разве что за вид из окна можно было отдать полцарства: взору писателей представал не только канал Грибоедова, но и Малая Конюшенная улица.

В пятьдесят шесть квартир заселилось более шестидесяти семей писателей. В одиннадцати квартирах новоселье совпало с началом ремонта. Жалобы не заставили себя ждать. «Я эту проклятую надстройку не хотел брать. Мы указывали, что она строилась вредительски, например, не предусмотрено место для домработницы и проч.», — разорялся литератор И.В. Хаскин летом 1937 года. А вот еще несколько свидетельств: «Выявлено значительное число писателей, находящихся в снверных жилищных условиях», «Положение с квартирами чрезвычайно снверное...», «О жилищном кризисе. Необходимо принять срочные меры для облегчения тяжелого жилищного положения писателей. Ряд писателей живут в одной комнате с семьей», «А вы знаете, как он живет? В одной комнате сам-четвертый. Дочь играет на рояле, жена разучивает роль, за шкафом домработница готовит суп и тут же Щеглов пишет пьесу», «Тов. Рождественский с женой живет в девятиметровой комнате, а ребенок живет у бабушки».

Но что такое шестьдесят семей для ленинградского отделения Союза писателей? Сущие крохи! Интересно, что когда Бернард Шоу, приехав в 1931 году в Ленинград, спросил, сколько в городе писателей, ему ответили: «По списку двести двадцать четыре». Седобородый англичанин немало удивился. Позже Алексей Толстой уточнил цифру: «Пять». Вероятно, он имел в виду себя, Зощенко, Тынянова, Ахматову и Шварца. Но у них-то были квартиры. А как же остальные? Как остроумно заметил Эдуард Шнейдерман, «и вот в этой казавшейся неразрешимой ситуации перед нуждающимися забрезжила надежда: на помощь в преодолении жилищного кризиса пришел Большой дом». Так в Ленинграде называли местное управление НКВД, по-своему «позаботившееся» о писателях. В квартиры репрессированных заселялись новые жильцы. Арестованы были писатели Николай Заболоцкий, Борис Корнилов, Николай Олейников, Борис Стенич

и многие другие. Таблички «Последнего адреса» здесь есть в память о нем устанавливать.

А в Ниеве был свой писательский кооператив «Робітний літератури» (бывшая улица Ленина, совр. улица Бориса Хмельницкого, № 68), среди жителей дома прозванный «Ролит». Судьба его схожа с московским и ленинградским «собратями». Дом стали заселять с середины 1930-х годов, первый его корпус выстроен в стиле конструктивизма, а второй, 1939 года, — крепкий образец сталинской архитектуры. Квартиры в нем наиболее комфортабельны: есть четырех- и пятикомнатные, площадью почти сто и выше квадратных метров, с помещением для прислуги, для нее же был предназначен и черный ход. Самое главное, что в проенте каждой такой квартиры был предусмотрен и большой кабинет, более двадцати квадратных метров, а для писателя это очень важно. В «Ролите» в разное время проживали почти все известные украинские «письменники» — Олесь Гончар, Александр Корнейчук, Андрей Малышко, Михаил Стельмах, Павел Тычина и многие другие, общим числом до ста тридцати человек. А в мансарде дома обретались художники, первоначально ее планировали под литературное кафе. Среди жильцов дома — также и те, кого репрессировали в 1930-х годах. А мемориальных досок на здании установлено столько, что от них рябит в глазах: почти тридцать (для справки: на доме в Лаврушинском их всего две). В Ниеве вообще любят устанавливать доски — большие, с наной-нибудь изюминной, иногда это произведение искусства. Да и на увековечение памяти о писателях здесь не скупятся: есть улица Олесь Гончара, установлен ему памятник в 2005 году, охотно ставят памятники и другим украинским писателям XX века. Дом этот и по сей день считается престижным...

После войны строительство писательских домов в СССР продолжилось. Например, в Ленинграде в литфондовском доме на Петроградской стороне, на улице Братьев Васильевых (ныне Малая Посадская), соседствовали Даниил Гранин и Михаил Дудин, Леонид Пантелеев и Вадим Шварц, Сергей Орлов и Евгений Шварц. Евгений Львович переехал в этот дом в 1955 году, вскоре после его постройки (на канале Грибоедова он проживал в малюсенькой квартирке площадью двадцать три квадратных метра). Дом необычный, с круглым фасадом и огромными колоннами, подпирающими третий этаж, в общем, в стиле «сталинский вампир». Шварц с женой поселился на втором этаже, анкурат между колоннами, что вызвало у него ироническую реакцию.

«С 1955 года, — вспоминал критик Александр Дымщиц, — мы жили с Шварцем, что называется, под одной крышей, в новом доме на Петроградской стороне. Евгений Львович и Екатерина Ивановна поселились в небольшой и очень уютной квартире второго этажа. По странной причуде архитектора окна этой квартиры выходили на своего рода площадку, с которой поднимались ввысь массивные колонны. “Живу, как в Афинах, — посмеивался Шварц. — Вы не видели меня утром? В сандалиях, в тоге, со свитком в руках, украшенный лавровым венком, я шествовал между колоннами и спорил с киниками из “Ленфильма”, — имя же им — легион”. Иногда Шварц поднимался ко мне, на четвертый этаж».

А соседом Шварца по этажу стал литературовед Борис Эйхенбаум, из переписки которого мы узнаем и о достоинствах писательской квартиры: «Три комнаты, четыре стенных шкафа, кухня с окном и мусоропровод (общий со Шварцами, которые будут рядом)». Было и еще одно удобство в доме — литфондовское ателье, где обшивали не только писателей, но

и популярных ленинградских артистов, в том числе с близлежащей киностудии «Ленфильм». Однако Шварцу не суждено было долго пользоваться услугами умелых портных и закройщиков — он скончался в 1958 году. Ныне на здании — мемориальная доска в память о драматурге.

Удостоились памятных досок и другие достойные жильцы дома, последний из них — Даниил Александрович Гранин, проживший почти сто лет. Гранин, доску которому торжественно открыли в феврале 2019 года, был ветераном этого дома, можно сказать, последним советским писателем. В народной памяти он останется не только как автор популярных романов об ученых, книг войне, но и как писатель, воплотивший на деле формулу «В России надо жить долго». Надолго запомнится и его речь в бундестаге в 2014 году, когда 95-летний писатель, стоя, больше часа рассказывал немецким депутатам и членам правительства (во главе с канцлером) о блокаде Ленинграда. Ему предлагали сесть, но он отказывался. Жаль, что подобную речь Даниилу Александровичу не удалось произнести в российском парламенте...

Помимо многих орденов и премий, Даниил Гранин удостоился редкой даже для писателя чести — в 2005 году он стал почетным гражданином Санкт-Петербурга. Уважали его и в те времена, когда город носил имя Ленина, а партийные власти, полагаю, писателя даже побаивались. Первый секретарь обкома горкома КПСС Григорий Романов как-то вручал Гранину орден. «Вручение происходило в Малом зале Смольного. Первым был вызван я. Рукопожатие. Романов нацепил орден. Я произнес: “Спасибо” — и ничего более. “Что, не доволен? — сказал Романов. — Мало дали?” “А я и не просил”, — ответил я, вернулся на место. Следующему вручали художнику А.А. Мыльникову. Тот тоже “Спасибо”, но уже горячо, и прочувствованно преподнес монографию о своем творчестве. Романов повертел ее, нахмурился. “Это на каком языке?” “На английском”, — гордо пояснил Мыльников. Романов с размаха швырнул ее на пол. На обратном пути я не преминул подколол Мыльникова: “На английском! Думал, его потрясет? А он тебе преподавал патриотизм!”, — рассказывает Даниил Александрович в книге «Причуды моей памяти».

А вот еще один эпизод, характеризующий отношение власти и искусства: «Романов, заметив Аникушина на каком-то сборище, сказал: “И ты, лысый, здесь?». Михаил Константинович Аникушин — известный советский скульптор, автор многих памятников, в том числе Пушкину и Чехову. «Миша смутился и позже сказал: “Мне бы надо ему ответить: “Я все же старше вас, товарищ Романов”. Не нашелся, — добавляет Гранин и резюмирует: — Папы римские, и те куда почтительней обращались со своими художниками, понимали, что есть они и что есть божий дар». Романов много крови «выпил» у Гранина, когда тот вместе с Алесем Адамовичем создавал «Блокадную книгу». Дело продвигалось с большим скрипом, авторов упрекали в чрезмерном акцентировании на человеческих страданиях и смертях жертв ленинградской блокады.

Фотограф Юрий Рост, побывавший в гостях уже у сильно пожилого Даниила Александровича, заметил в его квартире на бывшей улице Братьев Васильевых, помимо заполненных до отказа шкафов с книгами, еще и свисающие с потолка... гимнастические кольца. Занимательная подробность. Так под кольцами в коридоре он его и сфотографировал. Сегодня в Санкт-Петербурге Гранину стоит памятник. А о нашем времени он написал так: «В советские времена низкий нравственный уровень можно было оправдывать страхами, идеологией, репрессиями. В нынешнем

человеке мы, очевидно, имеем дело с принципиально другим отношением к стыду и совести. Появились новые требования к ним, новые, куда более заниженные уровни стыда и совести, и они считаются нормальными. Вот поголовное бесстыдство чиновников, для которых любые законы определяются степенью взяточности. Вот олигархи, которые захватили народные достояния лесов, недр, земель, жилья и получили миллиарды — за что? Они ничего не изобрели, не открыли ни в науке, ни в экономике, ни в производстве, ничего не дали обществу, тем не менее стали владельцами огромных состояний, в основном по праву захватчиков, «оккупантов». Вот депутаты всех уровней добиваются своих мандатов с помощью пустых обещаний, лжи и обмана. В стране повсеместно воцарились культ денег и воровство. Телевидение на всех каналах заботится не столько о просвещении, не о воспитании, сколько о рекламе, рейтингах ради своих доходов».

А Виктор Конецкий был старожилом другого литфондового дома, на улице Широкой, №34, на той же Петроградской стороне. Вдова писателя Татьяна Валентиновна Анулова-Конечная вспоминает, как ее муж говаривал: «Живем — в щели между вождем пролетариата и широкой русской душой». Вождя пролетариата Конечный называет неслучайно — в советское время улица носила имя Ленина. Заселять дом стали в начале 1960-х годов. «Я часто вспоминаю мужа стоящим у раскрытого окна кабинета — он любил смотреть на наш скверин, — пишет Т. Анулова-Конечная. — Когда Виктора Викторовича не стало, я прочитала в дневнике запись, сделанную им в 1984 году, за год до нашей с ним встречи: «Мой дом в плане бунва “П”. Внутри “П” малюсенький скверин. В нем растут вдоль верхней палочки какие-то неизвестные мне кусты. Весной они на короткий миг цветут розовыми цветочками величиной с ноготь». А еще во дворе росли березы, одна из них «вытянулась уже выше моего шестого этажа, и я вижу ее в окно прямо с дивана», писал Виктор Конечный. Березки посадили писатели.

Созерцание прелестного сада с неунывающими русскими березками, не раз вдохновлявшего писателей на создание новых произведений (о чем свидетельствует богатая история отечественной литературы), порою неожиданно прерывалось. К Конечному захаживал сосед — нет, не писатель, а антер — Олег Даль. Каким же образом Олег Иванович очутился в писательском доме на Широкой улице? Понятно, что за одну только фамилию ему должны были дать здесь квартиру (хотя к составителю «Толкового словаря живого великорусского языка» антер не имел отношения). Дело в том, что третьей женой Олега Даля была внучка литературоведа Бориса Эйхенбаума Елизавета Апраксина. К тому времени литературовед уже скончался (в 1959 году), Даль жил в квартире с женой и тещей.

Конечный посвятил Олегу Далю рассказ «Артист», наполненный яркими деталями писательской повседневности: «По прямой между нашими квартирами было метров двадцать: через этаж и лестничную площадку. Эн (Конечный выписал Даля под псевдонимом. — *А. В.*) только что счастливо женился. Тещу называл Старшая кенгуру, жену — Младшая кенгуру. Ни та ни другая не обижалась, даже радовались, когда он их так называл... Происходил Олег из пригородно-футбольно-хулиганистого сословия послевоенных мальчишек. И в подпитии он старался избегать близких контактов с кенгуру, находя приют у меня. Находил этот приют Олег в полном смысле слова явочным путем. Время года, день недели, время

суток для него существенного значения не имели. Обычно я от души радовался неожиданной явке артиста, ибо выпивка — штука заразительная, и составлял ему компанию».

Однажды сосед позвонил в дверь в половине третьего ночи. «На пороге возник элегантный, пластичный, артистичный Эн». Вскоре за Далем пришли те самые кенгуру, обыскав с разрешения Нонецкого всю его квартиру, мужа и зятя в одном лице они не обнаружили, убравшись восвояси. Выяснилось, что находчивый Даль спрятался не на балконе (стоял ноябрь на дворе), а в человеческого роста рулоне с морскими картами, в углу спальни.

В этом же доме жила в последние годы и Анна Андреевна Ахматова. «Привезли ордера, все притихли. Сказали, что дадут первыми Шефнеру и Абрамову. Шефнер был как всегда, “как будто сам себя боится”, как будто его и нет. За Абрамова получала [жена] Люся, его, кажется, и не было. Потом стали давать “по чинам”, по алфавиту, по неведомому мне порядку. Вдруг пригласили и меня, за моей спиной возник шепот: “А Ахматова это откуда?”» — так вспоминала искусствовед Ирина Пунина, с которой Ахматова делила свою жилплощадь. Анулова-Нонецкая пишет, что «Ахматова с иронией называла писательский дом на Широкой “общезитием”. Жильцы мерзли много лет, к тому же часто прорывало трубы, и к постоянно ломающимся лифтам пришлось привыкать. Без взаимовыручки в такой ситуации было не обойтись. Семья Медведевых, узнав о том, что Ахматова вернулась после инфаркта из больницы, отказалась от своей очереди на телефон, передав ее Анне Андреевне...».

Что это за очередь такая? Н телефонной будке, что ли? Эту книгу читают не только те, кто в подобной очереди простоял годами, но и представители более молодого поколения, не имеющие (и слава богу!) представления, что право позвонить надо еще и вымалывать. Мобильных телефонов тогда еще не было, а имелись только стационарные, с дисками, в которых от чрезмерного набирания номера мог и палец застрять. В СССР был дефицит телефонных номеров, которые распределял обычно начальник городского (или районного) телефонного узла. И потому телефон ждали годами. Родилось даже такое явление, как спаренные телефонные номера (естественно, по просьбам трудящихся), это когда номера два, стоят в разных квартирах, но подключены в одну линию. А у детского поэта Валентина Берестова в его новой квартире в московском районе Беляево вообще никакого номера не было, даже спаренного. Что он только не делал: приносил прошения от Союза писателей, Литфонда, издательства «Детская литература». Не помогало! Нет лишних номеров в районе, говорили Берестову. Тогда Валентин Дмитриевич раздобыл письмо на бланке Дома дружбы с народами зарубежных стран (было такое хлебосольное учреждение в Москве), из которого следовало, что телефон поэту нужен для регулярной связи с Джанни Родари.

Наверное, если бы Берестов предъявил паспорт, в который была бы вклеена фотография самого Чиполлино, которого в 1970-е годы стали путать с Челентано, телефон удалось бы поставить. Но слишком они были не похожи. Георгий Елин в дневнике от 17 марта 1976 года воспроизвел рассказ поэта о его мытарствах: «Чиновники почтительно перебирали рекомендации и в упрощенной для понимания писателя форме объясняли, что при телефонизации всего дома требуется подвести дорогой сороканильный кабель, а ради одного номера, даже если по нему будет звонить сам господин Чиполлино, столь сложные работы не делаются. Наконец

Берестов дошел до Главного Телефонщина Москвы и тот, всей душой войдя в положение, тоже рассказал про набель, но заверил: как только его, сорокажильного, протянут — писателя подключат первым. Наложил резолюцию и послал регистрироваться. Рядовая регистраторша в окошечке, приняв отходатая бумагу, осведомилась, не родственник ли он поэту Берестову, на стихах которого все ее дети выросли. А услышав, что это он собственной персоной, изумилась: «Накая вам очередь! Купите телефонный аппарат и завтра будьте дома». Как честный человек, Валентин Дмитриевич предупредил, что к его дому не проложен очень нужный провод, но тетенька в окошке отмахнулась: слушайте их больше!» И что же? Уже через несколько дней Берестов был готов к звонку Джанни Родари — телефон в его квартире заработал. Вот что значит писать замечательные стихи для детишен.

Анне Андреевне Ахматовой телефон был не менее необходим. Во-первых, по нему можно было вызвать врача из литфондовской поликлиники, расположившейся в западном крыле дома. Во-вторых, заказать такси, на котором доехать до Московского вокзала. Морской инженер Натан Готхарт несколько раз бывал у Ахматовой в гостях. Впервые — 26 октября 1963 года. Готхарт приехал, чтобы помочь Анне Андреевне доехать до вокзала, довести чемоданы. Благодаря ему мы можем представить себе, в каких условиях жила поэтесса: «В комнате Анны Андреевны (это и кабинет, и спальня) против входа стоит деревянная кровать. В изголовье небольшая иконка. Рядом с кроватью шкаф для одежды. В правом углу у окна горка со статуэтками (там стоит и фарфоровая головка — скульптурный портрет Ахматовой работы Данько). Узкий деревянный сундук старинного вида. На стене у кровати висит известный рисунок Модильяни. Нижняя полка. Небольшой письменный стол, на нем книги. Анна Андреевна едет в Москву поездом «Красная стрела» в 23:55. До отъезда времени достаточно, такси заказано заранее, и все вещи собраны. У Анны Андреевны перед дорогой тревожное состояние, но она улыбается, когда спрашивает у Ханны Вульфовой: «Ханночка, где моя пудра? Надо же в Москве нос напудрить?».

Упомянутая Ханна Вульфовна — жена младшего брата Ахматовой. В ожидании такси Натан Готхарт с разрешения Ахматовой рассматривает ее книги, среди которых — «Японские трехстишия», «Персидская поэзия» Льва Гумилева — с надписью «Любимой мамочке», книга художника Н. Елисеева с портретом Ахматовой его работы, а еще «Грузинская поэзия» Бориса Пастернака со стихотворным автографом автора...

Ахматова волнуется. Наконец звонит диспетчер: такси скоро будет. «Анна Андреевна надевает теплое пальто с меховым воротником и вязаную шапку». К такси она идет медленно, садится рядом с водителем. Два чемодана — в багажник. Просит других провожающих не ехать с ней на вокзал, дабы избежать лишних переживаний: «Мне профессор сказал: никаких провожаний. Думают, что это игра, а это человеческая жизнь». Запрет ехать на вокзал позже услышал от Ахматовой и Иосиф Бродский.

«У Московского вокзала мы выходим из такси. Анна Андреевна идет очень медленно, часто останавливается, с трудом преодолевает ступеньки одной лестницы, потом другой. В центральном зале, где стоят рядами скамейки, Анна Андреевна говорит, что хочет немного отдохнуть, и садится на скамью. Но в это время появляется железнодорожный служащий и начинает бесцеремонно сгонять всех сидящих. Наверное, в Москву должна ехать какая-то важная птица. Ахматова,

не возмущаясь или не показывая своего возмущения, тяжело поднимается, и мы медленно направляемся к перрону. Вагон СВ, №6. Отказываясь от помощи, А.А. энергично берется руками за поручни у двери и входит в вагон. Вместе с Томашевской они занимают двухместное купе с нижними местами. Анна Андреевна благодарит, и мы прощаемся». А ведь действительно — чего возмущаться-то, что со скамейки прогоняют: хорошо, что вообще жить дают!

В следующий раз Натан Готхарт побывал у Ахматовой в этом доме 24 января 1965 года. Анна Андреевна выглядит хорошо. «У нее загорелое лицо, энергичный взгляд. Чувствуется приподнятое настроение». Она недавно вернулась из Италии, где ей вручили Международную литературную премию «Этна-Таормина». «На столике стоят высокие, необыкновенной белизны, свечи. На сундуке — книги, альбомы, среди них огромный альбом репродукций картин Пикассо. Все это из Италии». Анна Андреевна рассказала о поездке, посетовав на «неприятные ощущения из-за большой скорости поезда. Затем рассказывает про анкету при оформлении документов на выезд: «И еще один вопрос: девичья фамилия матери? Я говорю: “Ну, — с улыбкой, — посмотрите где-нибудь в архивах”». А вот и атрибуты премии: большая кукла сицилийского рыцаря с мечом и именной экземпляр книги Данте с иллюстрациями Боттичелли. Анна Андреевна уточнила размер премии: «Сколько-то миллионов итальянских лир... И истратить их нужно было в три дня». Присуждение престижной премии свидетельствовало о мировом признании творчества поэтессы. Далее Анна Андреевна рассказывает, что итальянский таможенник попросил ее надписать книгу. «Я сказала, что у меня с собой нет моих книг. Но, оказалось, он уже приготовил».

А затем было еще одно событие — присвоение почетной степени доктора филологии Оксфордского университета, предстояла новая зарубежная поездка. «А вот и весточка из Англии — пришло письмо “оттуда”, где запрашивается мерка на докторскую мантию и шапочку для Ахматовой. Она иронизирует: “Письмо на пути из Оксфорда в Ленинград “где-то” задержалось, “шло очень долго”, а ее могут посчитать невежливой из-за задержки ответа». Задержка писем “из-за бугра” — еще одна повседневная мелочь советской эпохи: письма усердно читали в соответствующем учреждении. Перлюстрация работала безупречно.

А степень доктора Оксфордского университета и правда очень почетна: ее присваивали в разное время очень достойным деятелям мировой культуры и науки. Это как раз та награда, весомость которой подтверждается значимостью ее лауреатов, а еще древностью самого университета, которому более тысячи лет. Тут бесполезно обивать пороги отдела культуры ЦК компартии Великобритании (или как там это у них называлось), дарить свои книги графу Оксфорду (старейший графский титул в системе пэрства Англии). Если захотят дать докторскую мантию — дадут. В XIX веке почетными докторами Оксфордского университета стали Василий Жуковский и Иван Тургенев, а среди советских граждан это Дмитрий Лихачев, Мстислав Ростропович, Лев Ландау, Норней Чуковский, пурпурно-серая мантия которого по сию пору висит в его доме-музее в Переделкине. Она сильно полиняла с 1962 года, но хранит еще следы «почетности». Некоторые старожилы поселка утверждают, что видели Чуковского, прогуливавшегося в ней по улицам: а что здесь такого? Для того мантию и вручили, чтобы ее надевать. «Правда, далось это нам нелегко: пришлось преодолевать многие препятствия, которые в течение

десятилетий мешали объективности наших научных исследований», — огибая острые углы, сказал Норней Иванович в Оксфорде в 1962 году, куда его после долгих сомнений выпустили из СССР. Не менее сложным было и получение разрешения для Ахматовой: сначала ей позволили премию принять, а затем и выехать в Италию. Не отдавать же обратно...

Дом на Широкой улице оказался последним ленинградским адресом Ахматовой, которую хоронили 10 марта 1966 года по описанным нами ранее советским писательским традициям: с милицией, сопровождение которой напоминало то ли конвой, то ли почетный караул. Траурный кортеж, направлявшийся в Номарово, остановился и здесь. Имелась и еще одна причина: надо было забрать надгробный крест, заказанный ранее Алексеем Баталовым в мастерских киностудии «Ленфильм». Как рассказывал он в интервью много лет спустя, «крест из дерева делал специально очень старый человек, который знал это условие (т. е. без единого гвоздя. — *А. В.*). Недавно я очень расстроился, побывав в Ленинграде и увидев, что переделали даже место, где захоронена Анна Андреевна... Тот крест, который с таким невероятным трудом был создан, — такого в нынешнее время уже просто не существует, к сожалению».

А Федор Абрамов до того, как поселиться на Широкой улице, жил в малогабаритной двухкомнатной квартире на Охте, в доме № 66 по Новочеркасскому проспекту. Интересны воспоминания его вдовы Л. В. Крутиновой-Абрамовой: «Никто не знал, в каких мы условиях жили, и никто не предложил ему квартиру в только что отстроенном Писательском доме. Узнав о переселении в новый дом довольно благополучных писателей, Федор явился в Союз писателей с обидой и возмущением. Руководители Союза ему резонно ответили, что он не подавал заявления об улучшении жилищных условий. На что Абрамов возразил, что они могли бы сами поинтересоваться, как он живет. Но все квартиры были распределены. Положение казалось безвыходным. Но тут неожиданно на помощь пришел В. Г. Адмони (известный лингвист и переводчик, в те годы старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР). Он уступил Абрамову предназначенную ему квартиру. В Писательском доме мы прожили десять лет».

Как же это хорошо: и много лет спустя узнать, что вокруг Федора Абрамова были такие же, как он, совестливые и порядочные люди. Отказаться от квартиры! На это были способны единицы. Ибо в следующий раз ее могли и не дать. Владимир Григорьевич Адмони-Красный (в иных источниках фамилия употребляется наоборот) — не только признанный мастер перевода и германист, возглавлявший бюро секции художественного перевода Ленинградского отделения Союза писателей, но и друг Анны Ахматовой. Анна Андреевна хорошо знала и его жену, филолога Тамару Исааковну Сильман, жила у них. Это как раз те люди, которых можно назвать истинно ленинградскими интеллигентами. Адмони после войны защитил диссертацию, стал профессором, но членом Академии наук СССР не был, зато его избрали членом-корреспондентом Геттингенской академии наук, членом-корреспондентом ученого совета Института немецкого языка в Мангейме, почетным доктором философии Упсальского университета, наградили золотой медалью имени Гете и т. д. Иосиф Бродский был ему благодарен — Владимир Адмони на суде в 1964 году выступил в защиту поэта, высоко оценив его творчество. Так что в Союзе писателей СССР были самые разные люди — и порядочные, и подлецов хватало.

А следующим ленинградским адресом Федора Абрамова после Широкой стал дом № 58 на 3-й линии Васильевского острова, где когда-то проживал писатель-натуралист Виталий Бианки. Абрамов поселился в новой квартире путем обмена, как установил его биограф О. Трушин. Это была весьма распространенная форма улучшения жилплощади в СССР, когда можно было поменять квартиру в Ленинграде на жилье в Тбилиси, Ереван на Москву, Ташкент на Львов и т. д. Много лет издавался даже специальный бюллетень по обмену — не менее популярное периодическое издание, чем газета «Неделя»...

Дорогу осилит идущий, а некоторые советские писатели, прописанные далеко от Москвы, отчаявшись получить жилплощадь, решались на крайние меры, когда сил стоять в очереди на квартиру уже не было. Белорусский литератор и переводчик с немецкого языка Василь Семуха отважился на такое... «Жил он тяжело, квартиры в Минске у него не было, скитался с семьей по частным углам. Многочисленные просьбы, с которыми он обращался к руководству СП насчет квартиры, ни к чему не привели, и Семуха... написал письмо в немецкое посольство в Москве. Дело в том, что во время войны немцы сожгли дом его родителей, и Семуха просил посольство помочь ему издать перевод «Фауста» и поспособствовать в получении квартиры. Письмо, разумеется, было перехвачено НГБ и возвращено в Минск с требованием принять меры». Меры приняли незамедлительно — белорусские писатели исключили Семуху из своих рядов. Почти единогласно — воздержался лишь Василь Быков, рассказавший эту печальную историю в мемуарах «Долгая дорога домой».

Не все писатели решались на столь радикальные поступки. Литераторы, как и другие советские люди, нередко прибегали к более привычным способам улучшения условий своей повседневной жизни, в том числе к обмену квартиры. Тем более что свой вклад в популяризацию обмена внес писатель Юрий Валентинович Трифонов, создавший одну из ярких иллюстраций той эпохи — рассказ с сакраментальным названием «Обмен». Вновь и вновь перечитывая одно из самых известных трифоновских произведений (наряду с «Домом на набережной»), убеждаешься, что каждое банальное «улучшение жилищных условий» в СССР нередко содержало в своей основе человеческую драму, комедию и даже трагедию...

«Переезжая после смерти мужа из своего “модерна” в аэропортовское кооперативное гетто, — вспоминает сценарист Майя Туровская, — я должна была “одной человеческой силой” возвести циклопический обмен из 11 квартир, протащить его через все чиновничьи Сциллы и Харибды, и, когда эта несвойственная моему непрактичному и негероическому характеру работа была позади, последняя чиновница вдруг отказала в подписи». Получить драгоценную закорючку помог Михаил Александрович Ульянов — народный артист СССР, надевший свой парадный пиджак со всеми регалиями и сам отправившийся по кабинетам. Он делал это часто и безвозмездно, как и его партнерша по театру имени Вахтангова Юлия Константиновна Борисова. В итоге чиновничью закорючку удалось получить.

Хорошо, что в Советском Союзе находились такие бескорыстные люди, готовые «торговать лицом» ради других, порою и не друзей, и не приятелей, и вообще незнакомых граждан. Без них настала бы полная «труба». Это выражение — «торговать лицом» — часто употреблял, например, артист Лев Константинович Дуров, отправлявшийся в гости

и бюрократам выбивать квартиру — но не для себя, конечно, а для других. В Союзе писателей были свои незаменимые носители «знамени-того лица» — с одним из них мы уже встретились, это Анатолий Алексин. Но самым влиятельным в этом смысле человеком был Сергей Владимирович Михалков, который мог выбить для совершенно незнакомых людей не Луну с неба, а более необходимые вещи — жилплощадь, прописку, телефон, путевку, место на престижном кладбище (зачем им Луна, если на Земле жить негде?).

С невероятными трудностями смогла получить жилье в Москве поэтесса Инна Лиснянская. Родилась она в Бану в 1928 году, там же вышел ее первый сборник стихов. А в 1961 году Инна Львовна поступила на двухгодичные Высшие литературные курсы при Литературном институте, получив комнату в студенческом общежитии на улице Руставели. Вскоре к Лиснянской приехали муж с дочкой, но жить с ней пусть даже в отдельной комнате они не имели права: «Через две недели комендант общежития, бывший вохровец, потребовал, чтобы моя семья съехала. Да и в какую школу столицы приняли бы Лену, чьи родители не имеют постоянной московской прописки? Прописка была у меня одной, и то временная. Пришлось на месяц отдать дочь в интернат... и подыскивать что-нибудь в Подмосковье. Место нашлось во Внукове, мы забрали Леночку из интерната, определили во внуковскую школу». Жила семья поэтессы на ее «очень даже приличную стипендию», кроме того, иногда случались «гонорары», а также выступления от Всесоюзного бюро пропаганды художественной литературы «в какой-нибудь дыре, например, в библиотечках при парках».

В это же время на Высших литературных курсах учился и Виктор Астафьев, подтверждающий, что стипендия была большой, он даже подкармливал семью: «Учась на Высших литературных курсах, живя в хороших условиях, бывая в театрах, на концертах... покупая в магазине из продуктов все, чего душа пожелает, я чувствовал себя несколько смущенно, и хотя отправлял посылки с продуктами на Урал, все же угрызения совести терзали меня».

А у Лиснянской семья была рядом. И все было бы неплохо, если бы Инну Львовну не исключили из Союза писателей и не выгнали с курсов за «бытовое разложение», а на самом деле по банальному доносу, за куплеты про Хрущева:

*С миру по нитке
И по свинье, —
Едет Никитка
По стране.
Чешет он пузо,
Морщит он лоб, —
Растет кукуруза
Вокруг хрущоб.*

Да и куплеты эти сочинила не она, а литературовед Арнадий Белинков. И было это в Доме творчества в Малеевке, правда, при свидетелях. Добрейший души человек, Белинков записал частушку, подарив ее Лиснянской (в 1968 году он поедет в Венгрию, откуда уже не вернется).

Затем Лиснянскую все же восстановили в рядах Союза писателей. Но прописки и жилья по-прежнему не было: «Я металась меж друзьями, прося каждого, нельзя ли меня прописать на их жилплощади, так как

министр МВД Тикунов пообещал дать прописку, если кто-нибудь предоставит мне жилплощадь под нее, чтобы я тут же могла вступить в жилищный кооператив. Как назло, тогда в Москве было самое жесткое прописочное ужесточение. Даже моя мама и отчим, переехавшие с разросшейся семьей на Новослободскую, не имели права меня прописать, так как у них не было лишних семи метров, которые требовались в обязательном порядке для прописки пусть и ближайшего родственника. К тому же меня сбил с толку мой тогдашний друг, наивный Юра Левитанский, сказавший, что на кооперативную жилплощадь не прописывают, иначе бы он дал такое разрешение. Он, видно, как и я, не ведал, что в кооперативную квартиру — могут прописать. Поэтому к знакомым писателям, живущим в кооперативных домах, я уже не обращалась. А у остальных не было лишних метров, а у кого были, тех я не знала» (из книги воспоминаний «Хвастунья»).

Семь метров жилой площади, о которых пишет Лиснянская, полагалось каждому советскому человеку. Это была обязательная норма для прописки и основание для того, чтобы встать на очередь. Если в семье из двух человек в квартире жилой площадью в пятнадцать квадратных метров рождался ребенок, возникало право на улучшение жилищных условий. Или вступай в кооператив. По этому пути и отправилась Инна Лиснянская: «Только в начале 65-го — не без помощи хлопот и моей мамы — мне, бакинне... дали разрешение на подмосковную прописку в каком-нибудь уже готовом или почти готовом кооперативном доме». Такой дом нашелся, хрущевка в Химках. Подвернулась и работа — перевод книги стихов дагестанской поэтессы Фазу Алиевой «Дождь радости», суливший получение приличного гонорара, равного первому взносу за кооператив. Переехав по праву в новый дом, Инна Львовна помогала таким же, как она «бесквартирным» писателям, в частности, прописала у себя поэтессу Светлану Кузнецову, пока та ждала свое кооперативное жилье на Красноармейской улице.

«Благоприятное» решение было принято чиновниками и по поводу обмена Федора Абрамова, который благодаря этому создал еще немало прекрасных произведений. В результате в 1970 году он смог с супругой переехать на Васильевский остров (возникший еще при Петре I — это вам не улица Ленина!) в очень хороший дом, где на третьем этаже и располагалась комфортабельная квартира №7, имеющая не только три комнаты, но и большую кухню. Квартира выходила «всеми окнами на светлую сторону улицы 3-й линии. Федору Александровичу квартира очень понравилась. Под кабинет им была облюбована самая дальняя комната. А в первых двух устроили гостиную и кабинет Людмилы Владимировны. В свою очередь, кабинеты служили и спальнями», сообщает его биограф Олег Трушин. А последним адресом писателя стала Мичуринская улица, дом №1, где он прожил совсем немного до своей скоропостижной кончины в 1983 году.

Большая кухня была весомым преимуществом. Ибо на кухне осмелевшие советские люди не только ели-пили, но и вели так называемые политические кухонные разговоры. Ведь чем была раньше кухня? Евгений Евтушенко даже сочинил мелодраматичный «Плач по коммунальной квартире»: «В нашей квартире коммунальной кухонька была исповедальной». Теперь же, переселяя народ из коммуналки в отдельные квартиры с их общими кухнями, где все следили друг за другом, власть как бы сдалась. Если раньше люди лишь думали инако, а говорили другое, то теперь на своих кухнях они и думали, и говорили то, что хотели. Личная кухня — это уже не евтушенковская исповедальня, а нечто большее.

Здесь осуждаются существующие порядки, включаются поздними вечерами радиоприемники с вражескими голосами «Радио Свобода» и «Голос Америки». А что мог говорить Федор Александрович Абрамов на своей кухне, можно себе представить, учитывая его дневник, по тем временам антисоветский. По-другому и его не назовешь.

У Василия Шукшина в пьесе «Энергичные люди» персонажи — барыги и деляги — на кухне не сидят, а выпивают по всем углам трехкомнатной квартиры. При этом они рассуждают о некоем писателе, который «все в деревню зовет! А сам в четырехкомнатной квартире живет, паршивец!». Выясняется, что «ему за это деньги хорошие платят, что призывает». В итоге это обстоятельство вызывает осуждение писателя: «Я его один раз в лифте прижал: чего ж ты, говорю, в деревню-то не едешь? А? Давай — покажи пример! А то — понаехало тут... не пройдешь. В автобусе не проедешь». Можно только догадываться, кого именно имел в виду Шукшин, вероятно, кого-то из писателей-деревенщиков, но явно не Бориса Можаева, в 1970-е годы жившего уже на улице Чайковского, в доме № 18, напротив американского посольства, по соседству с Сергеем Михалковым.

А соседом Бориса Андреевича был очень близкий ему по духу (можно сказать, единомышленник) все тот же Юрий Любимов. Приехал как-то Юрий Петрович домой и видит: Можаев гуляет у дома. Тут режиссера и осенило: «Борис, вот мы с тобой гуляем, а ведь Александр Исаевич, над ним все тучи собираются, собираются, и небось никто к нему не ездит. Я говорю: “Поедем!” Мы сели в мою машину и поехали. Он тогда жил у Норнея Ивановича. И конечно, за его дачей следили, потому что мы долго ходили вокруг дачи, долго кричали, он не отзывался. Потом для юмора я сказал: “Давай оставим мою машину, — такой вишневый у меня был набриолет “жигули”, даже номер, по моему, я помню: 00-16, я говорю, давай оставим ее у дома Вознесенского...” Мы остановились за сто метров от дачи Александра Исаевича и пошли по окнам стучать и кричать. Налиточку открыли. Там нетрудно было открыть. Потом, смотрим, он печатает на машинке и увидел нас. Открыл дверь и весь красный сам, возбужденный, чего-то печатает. Печатает, а от него прямо сгусток энергии идет. Потом он говорит: “Ребята, садитесь, очень рад. Давайте полчаса поболтаем и дальше мне работать, работать надо. Ну как вы живете?” Мы обменялись впечатлениями. Конечно, мы не говорили, что мы полны к нему глубоким чувством и уважением. Нет, все о ситуации, об обстановке, о жизни, потом, смотрим, он заерзал, что уже пора ему работать дальше».

Можно было бы и опустить этот эпизод, если бы не его более позднее продолжение. Через дюжину лет, встречая Любимова в Вермонте, Александр Исаевич удивил его: держа часы в руке, он спросил: «А вы знаете, сегодня ровно двенадцать лет и тот же час, когда вы были у меня на даче, помните, мы простились? Вы это помните?» Любимов был поражен...

А Василий Шукшин в мае 1964 года, уже будучи полноправным москвичом, обрел еще и квартиру, кооперативную, в блочной девятиэтажке. Правда, у черта на рогах — в Свиблово, в проезде Русанова, дом № 35, но зато отдельную. Устроившись режиссером на киностудию имени Горького, он вступил в ЖСН, но не писательский, а кинематографический. Благодаря постановлению ЦК КПСС и Совета министров СССР от 1 июня 1962 года № 561 «Об индивидуальном и кооперативном жилищном строительстве» право создавать кооперативы было даровано и прочим советским гражданам. Условия были объявлены весьма сносные: строительство

начиналось «после внесения кооперативами в банк собственных средств в размере не менее сорока процентов стоимости дома». Создаваемые ЖСН могли получить кредит в Стройбанке СССР в размере до шестидесяти процентов сметной стоимости строительства на срок до пятнадцати лет, с погашением его ежегодно равными долями.

И в Москве, и Ленинграде, и в Ниеве, и в Минске началось активное строительство кооперативного жилья, в том числе и писателями, давно ожидающими, пока им дадут квартиру. Так что Шукшин очень удачно и вовремя получил московскую прописку, без нее в ЖСН вступить было нельзя. «Н 1 мая обещают новоселье. Квартира хорошая, большая — тридцать четыре квадратных метра, двухкомнатная», — писал он родным в январе 1964 года. Биографы Шукшина приводят такой факт: единственным предметом из мебели в новой квартире был матрац. А затем уже жена Василия Манаровича Лидия Федосеева купила «столик и два стульчика в “Детском мире”». Уже к концу года нехитрое жилье обставили. «Маленькая двухкомнатная квартира. Смежные комнаты. В первой — стол и диван. Во второй — два полудивана, маленький столик, полки с книгами. Тесная, буквально не повернуться, кухня», — вспоминал ответственный секретарь журнала «Сибирские огни» Леонид Чинин. Василий Манарович на логичный вопрос гостя о причинах получения столь крохотного жилья ответил: «А мне и не давали, — как-то просто, без нотки обиды сказал Василий. — Это кооперативная. Нупил».

В название главы нами взята фраза Василия Манаровича из его рабочих записей: «Где я пишу? В гостиницах. В общежитиях. В больницах». Ее справедливо интерпретируют как свидетельство бытовой неустроенности писателя, не давшей ему возможность полностью реализовать свой литературный дар. При этом нельзя забывать, что он был еще и актером, кинорежиссером, драматургом. Столько ипостасей в одном человеке — уже само по себе уникальное явление, не знающее аналогов в отечественной словесности. В короткие перерывы между съемками Шукшин писал и в своей маленькой свибловской квартирке. «Василий Манарович работал всегда, когда выдавалось время. Ему не нужно было опускаться в кресло за письменным столом в собственном кабинете — он мог писать везде: положив тетрадку на колени, на пенек, в столовой, в общежитии, в гостинице, на кухне, в перерыве между съемками — всегда и везде», — вспоминал Евгений Лебедев, сыгравший главную роль в поставленных Георгием Товстоноговым на сцене Большого драматического театра «Энергичных людях». Лидия Федосеева свидетельствует: «Я мыла пол в маленькой квартирке, где мы жили, Вася работал на кухне. Когда очередь дошла до пола в кухне, я сказала: “Вася, подними ноги”. Он поднял ноги, сидел и писал. Я вымыла пол, убралась и тогда на него посмотрела: Вася все пишет, пишет, пишет, а ноги все так же вытянуты — он забыл их опустить».

Не было у него своего кабинета, скажем так: кабинет для Шукшина был везде, где писалось. Здесь очень кстати привести слова Валерия Золотухина, шукшинского земляка с Алтая, о том, на что мы тратим свои силы, когда рядом живут такие писатели, как Можаев, Шукшин. Следующую свою квартиру Василий Манарович ждал оноло пяти лет, еще осенью 1969 года написав матери: «Квартиру должны дать скоро, дом строят. Дом будет великолепный, квартира четырехкомнатная — с кабинетом, с детской, спальней, залом. В центре Москвы. Ничего, жить можно, дал бы нам всем Бог здоровья». Дом никак не достраивали, и Шукшин обращается

напрямую к секретарю ЦН КПСС Петру Демичеву, это письмо приводит Алексей Варламов. «Прошу Вашего содействия в решении вопроса о предоставлении мне жилплощади, которая дала бы возможность работать в необходимой для этого творческой обстановке как писателю, кинорежиссеру и актеру. В настоящее время семьей в составе 5 человек (я, жена, дети) проживаем в двухкомнатной квартире (смежные комнаты 18 и 13 кв. м.). С уважением В. Шукшин. 23 февраля 1971 г.».

Василий Макарович, обратившись в ЦН, указал номер своего партийного билета, а мог бы перечислить все свои награды: Госпремия РСФСР имени братьев Васильевых 1967 года за художественный фильм «Ваш сын и брат», Госпремия СССР 1971 год за исполнение роли в фильме Сергея Герасимова «У озера», заслуженный деятель искусств РСФСР — звание, полученное им «за заслуги в области советской кинематографии» в год своего сорокалетия. Шукшин уже успел очень много сделать, был любим народом, популярен, имел множество поклонников и немало завистников. Что всегда связано между собой.

После его письма Демичеву началась секретная переписка, будто про атомную бомбу, хотя речь шла всего лишь о квартире: «Секретно в Общий отдел ЦН КПСС. Заявление кинорежиссера тов. Шукшина В.М. об улучшении жилищных условий рассмотрено Президиумом исполкома Моссовета 13 апреля с. г. Принято решение предоставить тов. Шукшину трехкомнатную квартиру. Поручено Управлению учета и распределения жилой площади подобрать квартиру для тов. Шукшина. Подбор квартиры задерживается из-за отсутствия соответствующих свободных квартир. Заместитель председателя исполкома Моссовета С. Коломин. 19 июля 1971 г.». Квартир в центре столицы тогда строилось много — только предназначались они не для Шукшина, а для тех, кто решал судьбу его книг и фильмов.

Номенклатура, конечно, жила по-другому. Как и прежде, у чиновников не возникало желание делить с народом одну крышу над головой. Даже кооперативные дома их не устраивали. После долгожданной отставки Хрущева в Москве активно развернулось строительство комфортабельных домов для партийного аппарата, сотрудников министерств и ведомств, генералитета. Эти здания, удобно расположенные в тени Нового Арбата и Садового кольца, можно было отличить по особому светлому кирпичу, из которых они строились. Большие балконы и лоджии, высокие потолки, холлы, огромные кухни и столовые, два санузла, минимум четыре комнаты (а могло быть и шесть, и восемь, нередко присутствовал и второй этаж), полностью импортная начинка, начиная от дверных ручек и заканчивая ванной с унитазом, бесшумные лифты, консьержка при входе. Это элитное жилье находилось в ведении Управделами ЦН КПСС, которое иногда могло с барского плеча отщипнуть кусочек и писателям — либо классикам, либо начальникам.

Но Шукшин не был номенклатурой ни в Союзе писателей, ни в Союзе кинематографистов. Лишь незадолго перед скоростной своей кончиной Василий Макарович улучшил жилищные условия, получив весной 1972 года (в то самое время, когда он готовился к съемкам «Налины красной») квартиру. «Секретно. ЦН КПСС Общий отдел. Решением исполкома Моссовета № 14/22 от 28 марта 1972 г. тов. Шукшину В.М., кинорежиссеру Центральной киностудии им. Горького (семья 5 человек), предоставлена четырехкомнатная квартира № 121 площадью 74,06 кв. м в доме № 5 по ул. Бочкова. Заместитель председателя исполкома Моссовета С. Коломин. 31 марта 1972 г.». Вдоволь насладиться тишиной своего первого

в жизни кабинета Василию Макаровичу не пришлось — через два с половиной года он скончался, ему было всего 45 лет. И умер-то он словно на ходу — в каюте парохода, выполнявшего роль плавучей гостиницы для творческой группы кинофильма Сергея Бондарчуна «Они сражались за Родину». Озвучивал роль Шукшина в фильме уже другой актер...

Анна Андреевна Ахматова, обозвав писательский дом «общежитием», угодила в самую точку, ибо общежитие или коммуна можно назвать основным стилем повседневной жизни небогатых французских поэтов XIX века, что обживали парижский квартал Монмартр, нередко соседствуя друг с другом. И потому расселение советских литераторов под одной крышей можно трактовать и как социальный фактор, и как следование мировым тенденциям. Есть, правда, один нюанс, на который указал в своих записях Юрий Олеша. 17 марта 1955 года в ЦДЛ он услышал рассказ вернувшегося из Парижа литератора, побывавшего в гостях у Луи Арагона и Эльзы Триоле. «Все квартиры, в которых я был... менее внушительны, чем квартиры наших писателей, артистов». Так что в СССР указанная тенденция укрепилась довольно сильно. Как говорится, это вам не Монмартр.

В Москве новый писательский квартал возник в 1950-е годы на Ломоносовском проспекте. Литфонд на паях с Госпланом СССР построил здесь два хороших кирпичных дома — №15 и 19. В разное время жильцами этих домов были Юрий Трифонов, Константин Ваншенкин, Инна Гофф, Владимир Дудинцев, Ион Друце, Юрий Бондарев, Григорий Банланов, Владимир Солоухин, Борис Слуцкий, Ярослав Смелянов, Владимир Соколов, Егор Исаев, Александр Борщаговский, Юлия Друнина, Александр Назанцев, Владимир Тендряков и многие другие. Некоторые писатели, когда в 1957 году только началось заселение, были вынуждены делить жилплощадь с собратьями по перу. Например, Борис Слуцкий и Григорий Банланов — они жили в одной коммунальной квартире, но в разных комнатах. Константин Ваншенкин вспоминает неожиданный утренний звонок Бориса Слуцкого, пригласившего его с женой Инной Гофф зайти к нему, где в это время находился «интересный молодой художник».

«Слуцкий, — свидетельствует Ваншенкин в «Писательском клубе», — жил в одной квартире с Банлановым, товарищем наших институтских лет. Тогда немало было коммунальных писательских квартир. Банлановы занимали две комнаты, Слуцкий одну. Держался Гриша исключительно корректно. Он был, по сути, еще неизвестен, а Борис почти знаменит. Слуцкий сказал мне как-то о Банланове:

— Пишет по десять-двенадцать часов в день. Почти не вставая.

Сказано это было с уважением. Да и сам Борис был работник, что в стихах вообще редкость. Однако он признался печатно: «Выполнив свой ежедневный урок — тридцать плюс-минус десять строк...» Таким образом, он писал в день от двадцати до сорока строк! Это невероятно, чудовищно много! Обычно пишущие так пишут из рун вон плохо. Здесь — редчайший случай. Когда он заболел и перестал писать, его запасов хватило на несколько лет регулярных публикаций».

Зайдя в Борису Слуцкому, Ваншенкин увидел в его комнатах необычную выставку: стены украшали рисунки, акварели и гуаши. А вот и сам художник — «с пышно-волнистыми волосами и светлым холодно-вежливым взглядом», сотворивший портрет поэта. «Внешнее сходство было несомненное, но выглядел Слуцкий слишком монументальным, напыщенным, сановитым». Борис Абрамович отвел Константина Яковлевича

в сторонку — не хотел бы он тоже заказать художнику портрет? «Дело в том, что художника нужно бы поддержать, и некоторые по рекомендации Слуцкого подобные работы уже заказали». На что гость ответил, что у него нет свободных денег. А художника звали Илья Глазунов...

Сегодня на Ломоносовском уже почти не осталось писателей. Одним из тех, кто прожил здесь почти всю оставшуюся жизнь, и был Константин Ваншенкин, получивший двухкомнатную квартиру с женой поэтессой Инной Гофф в 1957 году в доме №15, слева от кинотеатра «Прогресс» (превращенного гораздо позже в театр А. Джигарханяна), если смотреть от трамвайных путей. Как-то я оказался у него в гостях 7 октября 2007 года, он спросил с хитрецей, знаю ли я, какой сегодня день. «Еще бы, — ответил я, — полвека запуску первого спутника Земли!» А Константин Яковлевич сказал: «Ровно пятьдесят лет назад, день в день, мы поселились в этом доме». Хорошая у него была память. До переезда на Ломоносовский, пока они с женой и маленькой дочкой несколько лет ждали эту квартиру, Союз писателей предоставил им другую, в жилом корпусе гостиницы «Украина». Там было тесновато.

За свою жизнь в этом доме Ваншенкин дважды переезжал, но только из одного подъезда в другой, увеличивая жилплощадь, с двух до четырех комнат. Трехкомнатную квартиру он получил, написав заявление в Литфонд об улучшении жилищных условий, семья разрасталась: дочка, внучка. А в последнюю квартиру он въехал в результате обмена с Егором Исаевым. Обстановка этой последней квартиры была невесть какой роскошной: книжные шкафы занимали здесь много места. Впрочем, зайти мы к любому другому писателю этого дома — и наверняка увидели бы то же самое. Книжное собрание увеличивалось за счет не только собственных произведений, но и подаренных экземпляров коллег с дарственными надписями, с посвящениями. К тому же советские литераторы были прикреплены к специализированному магазину «Лавка писателя» на Кузнецком мосту, где их снабжали дефицитными изданиями.

Расспрашивая Константина Яковлевича, я уже тогда смог составить представление о его в общем-то счастливой творческой судьбе, что было следствием и его таланта, и системы моральных ценностей, которой он придерживался. Константин Ваншенкин никогда не имел машины, охотно пользуясь такси. Хотя на отчисления от исполнявшихся песен его и жены («Я люблю тебя, жизнь», «Русское поле» и т. д.) он мог бы, подобно некоторым секретарям Союза писателей, купить «мерседес». Но в друзьях у него были таксисты, одному из которых он посвятил стихотворение. На мои расспросы относительно столь странного аскетства он пояснял: «А зачем мне это? Раз есть машина, нужно выбивать гараж. Нужно с ней возиться. А мне писать надо». И не поспоришь. Аналогичным был ответ и на другой вопрос: «Почему, Константин Яковлевич, за всю жизнь вы не заняли ни одной порядочной номенклатурной должности в Союзе писателей или толстом журнале?» Ему предлагали, и не раз, а он отказывался. А вот другим не предлагали, а они хотели. Не тратил Ваншенкин время и на стояние в очереди за дачей в Переделкине, на пробивание Госпремий.

Соседом Константина Ваншенкина был генерал в отставке Виктор Ильин, многолетний секретарь по оргвопросам (с 1955 года) Московской писательской организации. В молодые годы он работал в органах, затем десять лет отсидел на Лубянке, с 1943 года. Когда после смерти Сталина Ильина оправдали, то долго искать новую должность не пришлось: он

пошел трудиться в привычную ему среду. Дело в том, что до войны в НКВД он отвечал за работу с творческой интеллигенцией. Так что генерал Ильин для писателей — самый что ни есть нужный человек, необходимый, знающий всю их подноготную. С началом оттепели он нашел себя на новой работе в Союзе писателей, в частности, занимаясь бытовыми вопросами жизни литераторов.

Нельзя сказать, что он сидел сложа руки — помогал как мог. Или сочувствовал, по крайней мере. Когда после открытой критики Георгия Маркова во время писательского съезда Константина Ваншенкина вычеркнули из числа отъезжающих в Италию, он сидел расстроенный в Пестром зале ЦДЛ с рюмкой коньяка и чашечкой кофе, мимо проходил Ильин. «Твою мать... — произнес он. — Да он бы должен был сказать: вычеркивайте кого угодно, но только не Ваншенкина. Чтобы не было разговоров...» Ваншенкин оценил слова Ильина, назвав его «человеком старых правил».

Многие писатели, прожив некоторое время на Ломоносовском, благодаря все той же неустанной заботе родного Мосгорисполкома и Литфонда наводрили лыжи в другой конец Москвы — к метро «Аэропорт», где в первой половине 1960-х годов возникло то самое кооперативное «писательское гетто», как назвала свой район Майя Туровская. Оттуда такое жуткое сравнение? Вероятно, от сверхплотной концентрации писателей на один квадратный метр жилой площади. В начале марта 1959 года было озвучено историческое решение об организации нового жилищно-строительного кооператива Союза писателей и Литфонда. Название нового ЖСН (числом аж до 250 пайщиков!) долго подбирать не пришлось — «Советский писатель». Желающих получить новую квартиру за свои же деньги нашлось очень много. Никогда еще строительство «литературного» жилья не было столь массовым.

С начала 1960-х годов писателей принял под свои своды целый лес кооперативных домов, ныне это дома №21, 23, 25, 27, 29 по Красноармейской улице. Здесь в разное время жили-были, здоровались с друг другом (или не здоровались), ругались и сталкивались нос к носу Василий Ансенов, Борис Балтер, Тимур Гайдар, Анатолий Гребнев, Леонид Зорин, Фазиль Искандер, Лев Копелев, Владимир Ланшин, Александр Межиров, Николай Носов, Анатолий Приставкин, Давид Самойлов, Анатолий Алексин, Василий Гроссман, Алексей Наплер, Булат Окуджава, Михаил Шатров, Юрий Левитанский, Николай Доризо, Юрий Давыдов и многие-многие другие литераторы, критики, переводчики, сотрудники редакций и просто хорошие люди.

Но даже если бы мы перечислили всех писателей, живущих в этих домах, картина все равно оказалась бы неполной, ибо неподалеку на улице Черняховского, дом №4, стоит еще один ЖСН — «Московский писатель», где жили Александр Галич, Юрий Нагибин, Евгений Габрилович, Виктор Шнловский, Арсений Тарновский, Владимир Войнович, увенчавший дом в своей повести «Иваньниада, или Рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру». Пролистаем ее.

«Что и говорить, разные люди живут в нашем доме, люди с самыми причудливыми биографиями. Потомки аристократических фамилий, бывшие большевики, меньшевики, ченисты, троцкисты, уклоницы, лауреаты Сталинских премий, космополиты, ортодонсы, ревизионисты, секретари Союза писателей — кого только нет. Еще недавно с гитарой в чехле ходил из подъезда в подъезд Галич. “Ну, что говорят о моем романе?” —

спрашивал каждого встречного Бен. Иных уж нет, а те далече. Арнадий Васильев, чекист, писатель, обвинитель Синявского и Даниэля, тоже жил в нашем доме. Теперь не живет. Теперь он лежит на Новодевичьем кладбище между Ночетовым и Твардовским, неподалеку от Хрущева. Все смешалось. Но еще не все померли и не все уехали. Есть и сейчас в нашем доме интересные люди. Потолкавшись в нашем дворе, самого Симонова вы можете встретить».

Действительно, Константина Михайловича Симонова можно было встретить. Но мемориальная доска ему установлена на соседнем доме №2, удостоверяя факт того, что писатель жил здесь с 1967 по 1979 год. Биограф Симонова Борис Паннин, вспоминая обстановку квартиры, то есть «верхнего» кабинета писателя, особо отмечает письменный стол, изготовленный по собственным чертежам Симонова, который придал ему форму лекала. Но почему доска установлена на доме №2, а официальным адресом писателя был дом №4?

У Константина Михайловича было две квартиры в соседних домах. «Живем втроем, жена, дочь и я, в небольшой квартире в пятьдесят девять метров. Считается четырехкомнатной, но на самом деле три небольших изолированных комнаты и проходной холл. Жена — искусствовед, кандидат наук, член Союза художников СССР, работает дома, имеет огромную библиотеку по специальности. Дочь — студентка второго курса истфака МГУ, ну и мне нужно рабочее место. В результате три комнаты из четырех стали, по сути, кабинетами, а четвертая проходная остается «на все про все», и практически у нас с женой нет спальни», — так объяснял писатель свою просьбу в Моссовет разрешить ему купить еще одну квартиру, однокомнатную, что и стала «нижним» кабинетом, ибо располагалась на первом этаже. Здесь Симонов мог спокойно работать, это была и его приемная. А упомянутая четвертая жена писателя (с 1957 года) — это Лариса Алексеевна Жадова (дочь генерала армии А.С. Жадова и вдова поэта С.П. Гудзенно), известный специалист по русскому авангарду, а дочь — Екатерина Кирилловна Симонова-Гудзенно, удочеренная писателем, ныне видный историк-японист.

Борис Паннин, неплохо знавший писателя, не раз бывал в этом «нижнем» кабинете: «Просто однокомнатная квартира в стандартном, шестидесятых годов постройки доме. Хрущоба, переоборудованная так, чтобы здесь можно было работать — то есть писать на машинке, диктовать Нине Павловне и на магнитофон, прохаживаясь и дымя трубой, держать необходимые книги и папки с собственными архивами». В кабинете трудилась и Нина Павловна Гордон — многолетний личный секретарь Симонова, одна из самых близких ему сотрудников, которой он «доверял как самому себе», и его машинистка Татьяна Владимировна. А работал Константин Михайлович и в своем доме в Гульрипши, и на даче в Красной Пахре...

Одной из примет писательской повседневности, зародившейся в том числе и среди обитателей этого квартала, стали проводы в эмиграцию. Провожали словно в последний путь, без надежды когда-либо встретиться. Тановы были настроения, усилившиеся с конца 1960-х годов, когда, по выражению Наума Коржавина, стало не хватать «воздуха для жизни». Юлий Крелин был на тех проводях: «Провожали, как в смерть. Не чаяли, что когда-нибудь увидимся. Трехкомнатная квартира Эмни была забита так, что иные из молодежи сидели на шкафу под потолком. Галич пел, что никогда не уедет, а останется, так сказать, у родных могил. Кто же думал, что его-то могила онажится весьма скоро на чужой стороне... Отъезд

Эмни был наким-то завершающим этапом нашего существования и началом чего-то нового, еще неведомого нам».

Наталья Бианни, работавшая редактором в «Новом мире», вспоминает, как проходил «день открытых дверей» в квартире Владимира Войновича: «Народ приходил и уходил. Двери практически не закрывались. При мне забрели Нардины, Рассадины, Бахновы, Алла Гербер... Когда собрались уходить, Володя вышел нас проводить. Мы обнялись...» Обстановка была трагической. Незадолго перед этим вечером в мастерской Бориса Мессерера на Поварской (тогда улица Воровского) с Войновичем также прощалась масса народу. Владимир Николаевич, рыдая, кричал: «Благодарю вас всех за то, что вы пришли! Но ведь вы пришли не на проводы, а на мои поминки!» В декабре 1980 года Владимира Войновича выслали из СССР, а затем лишили гражданства.

Уезжавших из страны писателей вычеркивали из истории литературы так, будто навсегда снимали с довольствия. Из книжных магазинов и библиотек изымали их книги, за чем строго надзирал Главлит — Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР. Порядок изъятия был не раз опробован, ибо выезжало писателей много. Уничтожали и журнальные публикации. Например, 14 февраля 1974 на основании приказа Главлита «Об изъятии из библиотек и книготорговой сети произведений Солженицына А.И.» уничтожению подверглись те номера журналов «Новый мир» за 1962–1963 годы, где увидели свет рассказы «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и другие. Изымались и уничтожались работниками библиотек публикации на всех языках. «Разрезание на мелкие части» строго фиксировалось актом.

Чуть раньше Войновича покинули Советский Союз Лев Копелев и Раиса Орлова: «Ранним утром двенадцатого ноября 1980 года мы в последний раз закрыли за собой двери московского дома, в последний раз проехали по знакомым улицам и уже через три часа оказались в другой стране, в другом мире. Необратимость отъезда мы осознали два месяца спустя, когда нас известили о лишении гражданства». Мысли об отъезде могли прийти и раньше — когда в 1976 году им разбили окна в квартире, на первом этаже. Пришлось переезжать в соседний дом на той же Красноармейской улице, на шестой этаж... Наталья Бианни помнит, что народу на прощании была «тьма». Пришло более сотни человек.

Сергей Чупринин передает гнетущую атмосферу того давнего дня: «Помню, как глубокой, глухой осенью 1980 года Раису Давыдовну Орлову и Льва Зиновьевича Копелева провожали за рубеж — для чтения лекций в западногерманских университетах, по самому что ни на есть официальному приглашению, с самыми что ни на есть официальными гарантиями. И провожающие, и отъезжающие, помню, внешне бодрились — что разлука, мол, ненадолго. И провожающие, и отъезжающие знали, втайне были уверены — что навсегда». Если бы все изгнанники-литераторы собрались за границей вместе, в одной стране, в одном городе, то из них можно было бы создать большой писательский кооператив...

